

Симон

Автор:

[Наринэ Абгарян](#)

Симон

Наринэ Юриковна Абгарян

Люди, которые всегда со мной

В маленьком армянском городке умирает каменщик Симон. Он прожил долгую жизнь, пользовался уважением горожан, но при этом был известен бесчисленными амурными похождениями. Чтобы проводить его в последний путь, в доме Симона собираются все женщины, которых он когда-то любил. И у каждой из них – своя история. Как и все книги Наринэ Абгарян, этот роман трагикомичен и полон мудрой доброты. И, как и все книги Наринэ Абгарян, он о любви.

Наринэ Абгарян

Симон

Моему сыну

Проводы

У Айинанц Меланьи умер муж. Не сказать чтобы его смерть стала для людей неожиданностью, ведь Симону было крепко за семьдесят, а точнее – без году восемьдесят лет. Но расстроились все – муж Меланьи был душой компании и общим любимцем. Жил он широко и безудержно, в тратах себя не ограничивал, ел словно в последний раз, пил так, будто назавтра утвердят сухой закон и впредь за спиртное будет полагаться смертная казнь. Потому завтракал Симон вином (для бодрости), обедал тутовкой (от изжоги), ужинал кизилровкой (чтоб крепко спалось). Несмотря на царящие в Берде[1 - Берд – город в Тавушском регионе Армении.] пуританские нравы, в интрижках он себе не отказывал. Любил женщин – самозабвенно и на износ, очаровывался с наскока, ревновал и боготворил, на излете отношений обязательно дарил какое-нибудь недорогое, но красивое украшение. «Расставаться нужно так, чтобы баба, встретившись с тобой на улице, не прожгла плевком!» – учил он друзей. Друзья отшучивались и, намекая на его любвеобильность, дразнили джантльменом, от слова «джан» – душа моя.

Меланья по молодости устраивала мужу сцены ревности, но с годами научилась смотреть на его похождения сквозь пальцы. И все же иногда, чтоб не слишком зарывался, закатывала скандалы с битьем тарелок и чашек, которые заранее откладывала из щербатых, предназначенных на выброс. Симон наблюдал с нескрываемым восхищением, как жена мечется по дому, грохая об пол посуду.

– Ишь! – комментировал, подметая потом осколки. Пока он прибирался, Меланья курила на веранде, стряхивая пепел в парадные туфли мужа. Жили, в общем, душа в душу.

Симон умер накануне своего 79-летия, абсолютно здоровым и бодрым. Плотнo поужинав и опрокинув от бессонницы стопочку кизилровки, он уснул в привычное время, а утром не смог подняться с постели. Вызванная скорая диагностировала инсульт, но до больницы не довезла – Симон умер, когда машина выезжала со двора. Выдали его семье к утру следующего дня, одетым в шерстяной костюм и белоснежную рубашку, тщательно побритым и причесанным на идеально ровный пробор. Столь нарядного усопшего не стыдно было бы в гроб положить и предъявить общественности, если бы не багровые, в синюшный перелив, уши, портящие представительный вид. Молодой патологоанатом, предвосхищая расспросы родственников, пояснил, что подобное случается с людьми,

умершими от инсульта.

- И как же нам быть? - прослезилась Меланья.

- Хоронить! - сухо бросил патологоанатом, которому явно было не до сантиментов.

Меланья долго раздумывала, как придать покойному приличный вид. От предложения старшей невестки замазать уши тональным кремом сердито отмахнулась - не дам из своего мужа меймуна[2 - Обезьяна (фарси).] делать! Обозвав бессовестной, выставила вон младшую, предложившую повязать ему косынку. Средней невестке не дала даже рта раскрыть - все одно толкового не скажет. Ничего в итоге не придумав, она понадеялась на тактичность земляков и решила оставить все, как есть. Перепоручила невесткам хлопоты по поминальному столу, переделалась в темное и подчеркнуто скромное и уселась в изголовье гроба, вознамерившись провести в скорбном молчании два дня.

Но надежды на тактичность земляков не оправдались. При виде покойного они, позабыв о словах сочувствия, первым делом справлялись, почему у него такие вызывающе-синие уши. Меланья вынуждена была, прерывая молчание, обстоятельно им отвечать. Мужчины обескураженно цокали языком, женщины сразу же предлагали что-нибудь предпринять.

- Да что тут предпримешь! - вздыхала Меланья.

- Ну хоть что-нибудь! - упорствовали женщины, сыпля наперебой идиотскими предложениями, как то: приложить к ушам листья подорожника, нарисовать йодную сетку, облепить перебродившим тестом, желательно холодным - чтоб наверняка. Мужчины в ответ крутили пальцем у виска, едко любопытствуя, как вообще можно помочь тому, кому ничем уже не поможешь. Цитата из «Идиота» о красоте, которой суждено спасти мир, неосмотрительно приведенная учителем литературы Офелией Амбарцумовной, вызвала в мужском лагере бесцеремонные смешки и вполне разумный довод, что красотой покойника не оживишь. «Зато приятно будет на него смотреть!» - не сдавался женский лагерь. Обстановка неуклонно накалялась, превращая церемонию прощания в перепалку. Траурный тон мероприятию вернула новоиспеченная вдова. Поднявшись со своего места и торжественным шагом направившись к буфету, она со скрипом его отворила,

вытащила тяжеленную супницу и со значением грохнула ее об пол. Женщины, моментально вспомнив, за каким делом явились, дружно заголосили, мужчины вышли во двор – перекурить. Меланья, довольная произведенным эффектом, снова уселась в изголовье гроба.

Потихоньку стали подтягиваться бывшие пассии Симона, расфуфыренные, словно на пасхальную службу. Первой явилась Сев-Мушеганц Софья, в кардигане цвета топленого масла и с фальшивым жемчугом на дряблой шее. Следом заглянула Тевосанц Элиза. Сыновья Элизы давно перебрались во Фресно, потому она пришла во всем американском: платье, туфлях, даже сумка и помада цвета пыльной розы – и те были заграничные, о чем она не преминула сообщить, устраиваясь по правую руку от вдовы. Меланья повела носом и поморщилась – пахла Элиза нестерпимо сладкими духами. «Передушилась, ага», – виновато шепнула та и уверила, что терпеть придется недолго – духи, в отличие от всего остального, не американские, потому быстро выветрятся. Из далекого Эчмиадзина приехала Бочканц Сусанна и в один миг взбесила публику литературной речью, высокомерно вздернутыми тонко выщипанными бровями и подобранными в частую складочку узкими губами. Ей тут же со злорадством припомнили хромоногую безграмотную мать и отца-оборванца. Сусанна вернула брови на законное место и, расслабив узел рта, перешла на диалект, чем сразу же снискала благосклонное к себе расположение. Последней пришла Вдовая Сильвия, удачно выдавшая дочь замуж в Россию. Невзирая на октябрьскую теплынь, она явилась в полушубке из чернобурки и бирюзовой фетровой шляпе. Встав к окну спиной (чтоб дневной свет не ложился на «упавшее лицо», но зато выгодно подчеркивал богатство гардероба), она, делая многозначительные проникновенные паузы, прочитала печальные стихи о разлуке.

Поэзия стала последней каплей. Бесцеремонно подвинув чернобурку, Меланья ушла к себе, переделалась в маркизетовую блузку и длинную, выгодно подчеркивающую ее худощавую фигуру юбку, заколола волосы бабушкиным черепаховым гребнем. От искушения воткнуть в узел антикварные вязальные спицы из слоновой кости с сожалением отказалась. Зато напудрилась и подкрасила губы – не сидеть же среди этих расфуфыренных куриц неухоженной выдрой! К тому времени, когда она вернулась, публика значительно поредела. Остались самые стойкие: родственники, бывшие коллеги мужа, пассии (все) и подслеповатая старая Катинка, кажется, намеренно позабытая своими детьми.

Именно она и предложила смазать уши покойного растопленным утиным жиром. Мол, вреда все одно не будет, а вот польза может приключиться. Ведь знахарка

Пируз вполне успешно лечила утиным жиром не только синяки и ушибы, но даже переломы.

Не хоронить же его синеухим, дочка! – прошамкала Катинка, утирая слезы краем передника. Меланья хотела было возразить, что покойному без разницы, какого цвета у него уши, но, поймав боковым зрением шевеление бровей Бочканц Сусанны, передумала – повода злорадствовать она ей не даст.

– Несите утиный жир! – скомандовала вдова.

– Главное – наложить сверху компрессы с камфорным маслом. Так знахарка делала! – сыпала инструкциями Катинка, следя за тем, чтобы камфары не переложили. Иначе, пояснила она, могут случиться судороги.

– Ну ему-то судороги не грозят! – отмахнулась невестка Меланьи.

– Откуда ты можешь знать? – встопорщилась старая Катинка. – И вообще, вместо того, чтобы языком молоть, ты бы лучше охладила утиный жир до комнатной температуры!

– Почему именно до комнатной? – любопытствовала Вдовая Сильвия, обмахиваясь журналом: в полушубке и шляпе ей было нестерпимо жарко, но на предложения раздеться она отвечала неизменным отказом.

– Как почему? – всплеснула руками Катинка. – Чтоб не обжечь покойному кожу!

Сильвия, обменявшись ошалелыми взглядами с невесткой Меланьи, булькнула нечленораздельное и притихла.

К тому времени, когда у детей Катинки проснулась совесть и они наконец-то явились за своей матерью, голову Симона украшали большие беспроводные наушники, отжатые со скандалом у младшего правнука. Наушники надежно фиксировали компрессы с камфорным маслом. Несмотря на неловкость ситуации, покойный выглядел вполне умиротворенным и даже счастливым. Вокруг гроба расселись вдова и бывшие пассии, потягивали домашнее вино и, разгоряченные то ли спиртным, то ли беспомощным видом Симона, откровенничали «за жизнь». Вдовая Сильвия, сдвинув на затылок фетровую

шляпу и выставив на обозрение сотоварок почти лысую голову, жаловалась на поредевшие волосы. Софья, сняв фальшивый жемчуг и оттянув ворот водолазки, демонстрировала некрасивый шрам, оставшийся после операции на щитовидке. Элиза с горечью призналась, что сыновья, вознамерившись открыть свое дело и понабрав кредитов, еле сводят концы с концами и потому вся ее одежда приобретена не в приличном магазине, а в секонд-хенде, чуть ли не на развес. Сусанна же с упоением жаловалась на высокомерную городскую свекровь: «Старая гримза попрекает меня деревенским происхождением, а сама рюкзак называет лугзагом!»

– Обмажь ей уши утиным жиром, вдруг подобреет, – посоветовала Меланья под общий смех. Изредка кто-то из женщин заглядывал под наушники и сообщал остальным, что толку от утиного жира ноль.

– Неужели вы надеялись, что толк будет? – каждый раз осведомлялась Софья и, с удовлетворением выслушав заверения в обратном, разливала по бокалам новую порцию вина.

Кулон

Запах моря был таким настойчивым, что Вдовая Сильвия проснулась с ощущением, будто оно плещется у нее под окнами. Она повернулась на бок, подогнула ноги, тщательно накрылась одеялом и пролежала так несколько минут, не размыкая век и дыша полной грудью. Форточка, уступив натиску стеклянного зимнего ветра, приоткрылась и впустила в дом солоноватый дух морозного ущелья. Тот метался по комнатам крупным бестолковым щенком, бился башкой о дверные косяки, застревал под тахтой и креслами, путался в тяжелых шторах, воевал с бахромой диванных подушек. Сильвия прислушивалась к его возне, блаженно улыбаясь – хорошо. Тем не менее вскоре она поднялась, пробежалась, босая, ежась от холода, по дощатым полам, плотно прикрыла форточку, не давая ей, поддетой порывом ветра, захлопнуться и наделать шума. Одевалась, настороженно прислушиваясь к тишине. Подошла на цыпочках к комнате дочери, прижалась ухом, удовлетворенно кивнула – спят!

Время двигалось к семи утра, ночь неохотно отступала, влача темный подол своего одеяния, но и день с приходом не особо спешил, ограничившись лишь тем, что лениво притушил и без того неяркое свечение звезд да передвинул к краю горизонта блеклую четвертушку луны. Было зябко и неприкаянно, там и сям, нехотя чирикнув, сразу же притихали воробьи, молчали дворовые собаки, а петухи, успев откукарекать по третьему кругу свое ежеутреннее приветствие, с чувством исполненного долга отдыхали.

Вдовая Сильвия вспомнила петуха из своего детства, невольно фыркнула. Тот был до того заполошным, что изводил криком всю округу. Иногда, чтоб немного уgomонить, дед смазывал ему под хвостом солидолом. Ничего не подозревающий петух взлетал на частокол, вознамериваясь в очередной раз сотрясти окрестные дворы торжествующим криком, набирал полные легкие воздуха, однако терпел фиаско: не встретив сопротивления, воздух беспрепятственно выходил через задний проход, обрывая в зародыше его «кукареку». Сделав несколько неудачных попыток крикнуть, петух сползал с частоккола и плелся по двору, топорщась перьями на затылке и уныло свесив пестрые крылья. Весь его облик – скособоченный клюв, сокрушенный взгляд, неуверенная поступь – свидетельствовал о глубоком недоумении и неподдельном потрясении. «И что, теперь так и будет?» – будто бы жаловался он, едва слышно бухтя себе под нос. Сильвия не помнила, что стало с ним потом – то ли зарезали, то ли продали, но крик его, пустопорожний, торжествующий, до сих пор звучал в ушах.

Прочитав над водой коротенькую молитву и поблагодарив Бога за новый день, Вдовая Сильвия тщательно умылась. Этой церемонии ее научила глубоко уважающая и неукоснительно чтящая народные традиции бабушка. В свое время она даже умудрилась подстроить под них весь свой быт. К примеру, заметив, что пес задрал голову и обеспокоенно обнюхивает воздух, она, ничуть не сомневаясь, что дело движется к дождю, спешила убрать вывешенное на просушку белье. Если глаза бесцельно замирали на каком-нибудь предмете – тотчас застилала обеденный стол свежей скатертью и, проверив запасы сладкого, садилась молотить кофе – ведь ни для кого не секрет, что застывший взгляд к нежданным гостям. Путникам она неизменно подкладывала в вещи узелок с горсточкой огородной земли – чтобы они благополучно вернулись домой. Никогда не передавала из рук в руки чеснок, потому что это могло навредить здоровью того, кто его просил. Не делала уборку на ночь, чтоб не расстраивать домашних духов – она искренне верила в них и непременно оставляла на чайном блюде угощение, к примеру – карамельные конфеты, фантики которых она обязательно приоткрывала, но полностью не

разворачивала, тем самым облегчая работу и в то же время уважая желания духов: захотят угоститься – сами дальше справятся.

Сильвия, по молодости относившаяся с иронией к привычкам старшего поколения, с возрастом сама в них поверила и нет-нет да и ловила себя на том, что, вторя бабушке, старается переделать всю работу по дому до субботнего полудня, оставляя свободным вечер и последующее воскресенье. Или же, помня о том, что в народе понедельник считают недобрый для начинаний днем, старалась ничего в этот день не планировать. А засеивать огород принималась во вторник – самый благоприятный для этого день.

Анна, дочь Вдовой Сильвии, мирилась с привычками матери, а вот зять, не вытерпев, иногда подтрунивал над тещей. Впрочем, делал он это до того смешно и по-доброму, что Сильвия не обижалась – молодой еще, наивный, жизни не понимает. На резонное замечание зятя, что к тридцати пяти годам вполне уже можно кое-что в жизни понимать, она снисходительно цокала языком: кое-что – это не все! Рано поседевшая и растратившая былую красоту, себя Вдовая Сильвия, невзирая на в общем-то небольшой возраст – пятьдесят два года – прочно записала в старухи и мягко, но решительно отметала любые попытки близких убедить ее в обратном. Рождение долгожданного внука окончательно укрепило ее в убеждении, что лучшие времена остались позади. Сразу же оформив на работе бессрочный отпуск, она с радостным облегчением переключилась с бухгалтерских расчетов на благословенные заботы бабушки, с первого же дня привязавшись к младенцу с той самоотверженной преданностью, на которую способны только люди, всю жизнь промечтавшие о беззаветной любви – и наконец-то ее заполучившие.

Анна, не считаясь с настоятельными советами воронежских врачей, приняла решение рожать в Берде. «Мне только у мамы будет спокойно», – отмела она все их доводы. Муж ее решение поддержал, но компания, где он работал, требовала постоянного его присутствия, поэтому выбраться к семье он смог только к родам. Дождавшись выписки жены и сына из больницы и убедившись, что все с ними в порядке, он улетел обратно в Россию. Анна же намеревалась вернуться туда к началу лета. Перспектива провести долгие месяцы с дочерью и новорожденным внуком наполнила душу Вдовой Сильвии ощущением сбывшейся заветной мечты. «Аствац[З - Аствац – Бог.]-джан, только не посчитай мое счастье излишним», – оказавшись в уединении, боязливо шептала она, воздевая к небу руки и торопливо осеняя себя крестом. С Богом она всегда говорила с глазу на глаз, не сомневаясь, что так меньше ему досаждают.

Появление внука изменило Вдовую Сильвию, женщину молчаливую и замкнутую, до неузнаваемости: она стала вдруг охочей до общения и могла проводить долгое время в телефонных беседах, неизменно норовя свести любое обсуждение к разговору о ребенке. Небольшая любительница магазинов – как правило, она приходила туда с тщательно составленным списком и, за несколько минут выбрав нужное, с облегчением уходила, теперь она проводила там чуть ли не часы, перебирая умильные, с зайчиками и бегемотиками, ползунки, чепчики и распашонки. Набрав целый ворох одежды, она какое-то время еще ходила вдоль полок, заменяя одну вещицу на ровно такую же, но без шва на спине, а потом, с чувством выполненного долга расплатившись, несла покупки домой.

Под натиском чувств изменилось даже отношение Вдовой Сильвии к традициям. Если раньше они соблюдались с некоей вариативностью, то теперь именно там, где дело касалось новорожденного, она следовала им с маниакальной, доходящей до гротеска неукоснительностью. К примеру, обычай советовал хранить под матрасиком младенца нож или ножницы, чтобы отпугивать злых духов. Вдовая Сильвия, рассудив, что многого мало не бывает, разложила по противоположным краям дна кровати и то и другое. Следом, чуть поразмыслив, разместила в третьем углу оставшуюся от деда опасную бритву, предварительно заточив ее осколком водного камня и обмотав острое лезвие бинтом. Порывшись в коробке с вязаньем, присовокупила к арсеналу спицы. Сложив их крест-накрест в свободном уголке кровати, она накрыла обереги сложенным вчетверо шерстяным пледом, водрузила поверху детский матрас, подоткнула его простынкой и лишь тогда вздохнула с облегчением.

Обычай рекомендовал первые сорок дней жизни беречь новорожденного от посторонних, объясняя это тем, что в таком возрасте он особенно восприимчив к сглазу. Суровый мораторий был наложен на любых гостей. От двора было отказано даже теру Маттеосу, заглянувшему поздравить семью с прибавлением и напомнить, что на восьмой день младенца положено крестить. Вдовая Сильвия, перекинувшись со священником несколькими дежурными фразами, поблагодарила его за визит и решительно выпроводила за порог, не дав пройти дальше прихожей.

– Так что с крестинами? – полюбопытствовал на прощание тер Маттеос, отряхивая пропыленную рясу пестрящей золотистыми, не успевшими сойти с лета веснушками рукой.

– Сорок дней пройдут – там видно будет! – последовал исчерпывающий ответ.

Тер Маттеос даже бровью не повел, когда входная дверь непочтительно захлопнулась перед его носом. Пригладив отчаянно кудрявящуюся бороду растопыренной пятерней, он направился к лестнице, ведущей с открытой веранды во двор, однако замер на верхней ступеньке и, обозвав себя беспамятным болваном, вернулся. Вытащив из кармана накидки мягкую игрушку – смешного пучеглазого ослика в полосатом сюртучке, он было сунулся в дом, но потом махнул рукой, огляделся по сторонам и, не найдя более подходящего места, оставил игрушку на подлокотнике старой тахты. Удостоверившись, что ослик крепко сидит, святой отец принялся спускаться по заледенелым ступенькам, придерживаясь морозных перил кончиками пальцев и напевая под нос мотив любимой песни. Добравшись до нижней ступеньки, он прервал пение подбадривающим «оп-ля», полуприсел и грузно прыгнул во двор, повергнув в изумление рассевшуюся на краешке забора стайку воробьев. Умолкнув, они уставились на него, наблюдая, как он идет к калитке, прищелкивая пальцами по болтающемуся на груди кресту. «Like last summer's rose I'm in love... love, love, love», – разливался его густо-бархатный бас, запоздало подхваченный бранчливым аккомпанементом наконец-то очнувшейся от потрясения птичьей стайки.

Ослик просидел на веранде совсем недолго – вышедшая задать корм птице Сильвия сразу же его заметила. Она умиленно повздыхала, но забирать его не стала. Ушла в птичник, вернулась оттуда с пустой миской из-под корма, неся под мышкой курочку с окровавленным гребешком. На днях петуху с большим скандалом подстригли когти, чтоб он курам бока и спины не обдирает, вот он и мстил, поганец. Обработав ранку зеленкой, Вдовая Сильвия отнесла пострадавшую обратно, постояла над развалившимся на верхней жерди насеста петухом-красавцем, хмыкнула, выдрала в сердцах из его хвоста длинное и наглое золотистое перо – в назидание, и под негодующие его крики ушла домой, бормоча под нос: «Скажи спасибо, что я тебе, ироду, клюв аптечной резинкой не обмотала!»

Тщательно вымыв руки, она вернулась на веранду – забрать ослика. Высвободила его из упаковки, повертела так и эдак, застегнула на пуговку ворсистый жилет, нажала на живот, прислушалась к деликатному «иа-иа», кивнула, соглашаясь: раз Создатель в оперные певцы не определил, то ничего тебе, горемыке, и не остается, как только иакать!

Тер Маттеос оказался единственным бердцем, рискнувшим заглянуть к Вдовой Сильвии. Соседи, не решаясь нарушить положенный традицией сорокадневный

«карантин», ограничились телефонными звонками и поздравительными открытками. На звонки она отвечала подробным отчетом об аппетите, росте и прочих успехах быстро прибавляющего в весе младенца, открытки же, бегло пробежав глазами, складывала в жестяную коробку из-под сахарного печенья, чтобы потом, когда свободного времени будет предостаточно, обстоятельно их перечитать. Директор консервного заводика, где она четверть века проработала бухгалтером, передал с посыльным заклеенный конверт. Вдовая Сильвия обнаружила внутри поздравительную открытку и три новенькие стодолларовые купюры с прозрачной синенькой полоской и портретом озабоченно поджавшего губы Бенджамина Франклина. Американский президент остро напомнил ей прабабку, умершую более века назад. Смерть ее стала притчей во языцех. Случилась она в Пасху, когда вся семья, включая многочисленных внуков и правнуков, собралась за праздничным столом. Прабабка, женщина крайне богобоязненная и благовоспитанная – никто прежде не слышал от нее резкого слова, опрокинув себе на колени солонку, явственно и громко чертыхнулась. Сконфуженно рассмеявшись, она попросила притвориться, что никто ничего не слышал, и пока родные, пряча улыбки, дружно уверяли, что все так и было, бедняжка тихо отдала богу душу. Посмертно прабабка снискала славу самой совестью жительницы не только Берда, но и всего региона – ведь на памяти людей не было ни одного случая, чтобы человеку довелось умереть со стыда. Вдовая Сильвия прабабку в живых не застала и знала ее по старой фотографической карточке, на которой та, точь-в-точь как президент Франклин, полуобернув полное лицо и поджав губы, с претензией тарасилась в объектив большими, немного навывкате, круглыми глазами. Рука прабабки покоилась на плече напряженно улыбающегося пятилетнего мальчика в сюртучке, коротеньких штанишках и ботинках со сбитыми носами. Над левым ухом мальчика торчала смешная кудряшка, которую хотелось пригладить пальцем, чтоб она не портила тщательно прилизанного общего вида. Мальчика звали Ованесом, он был младшим из семи внуков прабабушки и отцом Вдовой Сильвии. Сильвию, кстати, назвали в честь прабабушки. Имя, столь не характерное для этих краев, предложила мать новорожденной, по слогам вычитав его на баночке мятных леденцов. И, хоть в церкви при крещении девочке дали более подходящее армянское имя, закрепилось за ней то, непривычное для слуха, отдающее голосом горного родника и шелестом весенней листвы. А потом, через два поколения, это имя перешло к правнучке.

Растроганная щедрым подарком, Вдовая Сильвия позвонила на консервный заводик и, стараясь не выдать волнения, сдержанно поблагодарила. Взяв с нее обещание, что сразу же после отъезда дочери она вернется на работу, начальство попрощалось. Двести долларов Сильвия отложила на потом, сотню

же, разменяв в банке на армянские драмы, пустила на всякие насущные нужды: бутылочки, соски, подгузники, присыпку, а также продукты, прописанные в рацион кормящей матери. Анна возмутилась, что мать потратила свои деньги, но та решительно оборвала ее – мне это в радость, дочка. Оставшиеся двести долларов, походив по дому в поисках безопасного угла (банкам после денежной реформы, съевшей все ее сбережения, Сильвия не доверяла), она припрятала в пятом томе собрания сочинений Чехова. Правда, перед тем, как убрать книгу обратно, благоразумно сделала запись-напоминалку в блокноте, чтоб потом не перерывать все книжные шкафы. Выглядела эта запись вполне интригующе и даже несколько криминально и, пожалуй, не всякому шифровальщику пришлось бы по зубам. «Прабабушку Сильвию искать в вишневом саду», – гласила она.

Запрет на «карантин» нарушили только для сватов, выбравшихся навестить внука из Иджевана. Ревниво и подобострастно рассмотрев спящего младенца, сватья сразу же с удовлетворением объявила, что он – копия ее отца, потому назвать его нужно в честь деда Багдасаром. Вдовая Сильвия хотела было возразить, что подобным ветхозаветным именем не всякий в наши дни решится ребенка обозвать, но ее опередил сват. Повертев в характерном недоумевающем жесте вздетый к потолку указательный палец, он обрушил на жену водопад негодования:

– У этого ребенка на лице вместо носа кнопка от телевизионного пульта! Какой из него Багдасар?

– А что, Багдасар означает «носатый»? – уставилась на него сбитая с толку сватья.

– Конечно, раз под носом твоего отца в дождь вся наша улица собиралась!

– Ну раз ребенок носом не вышел, может, его тогда Вараздатом назовем? В честь твоего отца-пьяницы?

– Женщина, ты соображаешь, что говоришь? В сотый раз повторяю: он не пьяницей был, а ценителем тутовки! И вообще! Тебе внука не жаль? Какой Багдасар, какой Вараздат? Имя у мальчика должно быть современным. А главное, звонким и стремительным, словно выпущенная из лука стрела.

– Стремительным?! Назовите тогда сразу Гепард. Чего мелочиться-то? – встряла в перепалку Вдовая Сильвия, уязвленная тем, что никто не поинтересовался ее мнением.

Сваты, спохватившись, сразу же принялись советовать с ней. В итоге, после недолгих и почти кровопролитных препирательств, право выбора благоразумно решено было оставить за родителями младенца. Те, обещав придумать такое имя, которое устроит всех, развели взрослых по углам ринга. Однако с выбором не спешили, потому на второй неделе жизни ребенок продолжал оставаться безымянным. Традиции ничего предосудительного в этом не видели, так что и Вдовая Сильвия не беспокоилась. Придумают, куда не денутся. Свидетельство о рождении-то надо ведь справлять.

Самый строгий из обычаев запрещал первые десять недель жизни вывозить новорожденного на прогулку, опять же чтобы поберечь его от ненужного внимания окружающих. Но на дворе стоял чудесный ранний декабрь, и грех было лишать младенца возможности подышать морозным чистым воздухом. Пораскинув мозгами, Вдовая Сильвия придумала выход: она обшила верх прогулочной коляски дополнительной шторкой, которую сама же и смастерила из отреза тюля, для вящей непроницаемости пустив ткань двойным густым воланом. Сведущий человек сразу догадается, что нельзя заглядывать за шторку, а несведущего можно будет спокойно подвинуть! Анна, старающаяся никогда не перечить матери, осторожно поинтересовалась, зачем такие сложности, если первое время можно гулять, не покидая пределов двора. Вдовая Сильвия отвела взгляд, помолчала, протяжно вздохнула, подняла на дочь ореховые, в пепельный перелив, окаймленные лучиками мелких морщин глаза и ответила с обезоруживающей искренностью: уж очень хочется внуком похвастать, дочка. Анна обняла ее, чмокнула в висок, улыбнулась: конечно, мамочка, как скажешь.

Дом Вдовой Сильвии замыкал неширокую улицу, упираясь задним двором в грудь обросшего кустарником холма Хали-Кар. Улиц, расположенных на плавно спускающемся ко дну ущелья склоне, было три, и все они брали начало с небольшой криводонной площади, на которой торчали административные постройки: управа, полиция, банк, загс, суд и нотариальная контора. Немного проплутав между крепкостенных домов, эти улицы разбегались в разные стороны. Одна стремительно спускалась к подножию холма, а остальные две карабкались вверх и опоясывали его нарядными шальями-поясами, которыми в

старину поверх рубах-архалуков обвязывались мужчины.

Та из дорог, что огибала подножие и заканчивалась низеньким каменным мостом, называлась Нижней. Тянулась она вдоль невинной с виду, но непредсказуемой и взбалмошной, а в половодье разливающейся далеко за каменистые берега горной речки. В сезон таяния снегов и ливней она превращалась в неуправляемую лавину, сносившую на своем пути всякую преграду. Потому дома на Нижней улице выстроились на основательном от берега отдалении и непочтительно отвернулись, отгородившись от него высоченными, битыми ледяной волной заборами.

Вымощенная камнем Садовая улица тянулась до вершины холма и заканчивалась у ворот небольшого парка, откуда открывался чудесный вид на окрестности: каменные жилища со стеклянными верандами-шушабандами; сады, сквозь серое полотно которых, созревая, золотились хурма и айва; ссутуленные горы, отвыкшие за лето от пронзительного дыхания ветров; стеклянный осколок далекого озера с линялым ликом неба в отражении. Дома Садовой улицы, расположенные на внушительной высоте, раньше остальных ловили в окнах лучи просыпающегося солнца и первыми прознавали о приближении скороспелого дождя.

Вдовая Сильвия жила на третьей, Мирной улице, которая тянулась по груди холма, разделяя его пополам. По обочинам Мирной улицы стояли дома с воздушными открытыми верандами и обширными садами-огородами. Защищенные от капризов речки и шумных ветров, они могли позволить себе вольность в виде основательных глубоких погребов, дощатых амбаров и низкорослых хлипких оград, сквозь щели которых неустанно шастали писклявые цыплята, доводя до истерических припадков заположных наседок. Мирная улица, карабкаясь на пригорки и проворно устремляясь вниз, путалась под ногами и цеплялась за край одежды, оставляя на ней то перезрелую цветочную пыльцу, то приставучие колючки чертополоха, а то и иссушенные до невесомости сережки крапивы. Огибая дворы, в самом своем конце она резко поворачивала направо и утыкалась в дом Вдовой Сильвии, не дойдя каких-то пару метров до ограды.

Много лет назад отец Сильвии заделал этот зазор, вымостив его речной галькой в незамысловатом узоре: два светлых каменных полукруга на темном фоне. Маленькой Сильвии тогда было всего пять, и она с нетерпением ждала вечера, когда отец возвращался с работы. Переодевшись и наспех пообедав, он забирал ее с собой на речку, где они проводили час-другой, выискивая крупную, с ладонь, гальку нужной формы и расцветки. Бабушка уступила им железное ведерко, в котором хранила всякую каменную мелочь для заточки садового инвентаря, и Сильвия до сих пор невольно жмурилась, вспоминая звонкий стук первой кинутой на дно этой старой, почти насквозь проржавевшей посуды гальки.

Пустив на поиски камня почти два летних месяца, отец наконец принялся мостить дорожку. Маленькая Сильвия запомнила тот день таким, будто наблюдала его с высоты. Отец умудрился где-то раздобыть крепкий корабельный канат и смастерил удобные качели, заботливо обшив сиденье подушкой на гусином пуху. Сильвия раскачалась до упора, до ледяных мурашек и застывшего в горле комка, и, чтобы отвлечься от страха, выискивала глазами то бабушку, чистящую зеленые стручки фасоли, то маму, достающую из каменной печи караваи пахнущего сладкой горбушкой хлеба, то деда, поливающего розовые кусты. Прошло уже почти полвека, в жизни произошло много всего, что могло навсегда заслонить собой тот пронзительно-беззаботный день, но Сильвия запомнила его, словно многожды пересмотренный фильм, и часто переживала заново, восстанавливая в памяти мельчайшие подробности и радуясь всплывающим из небытия деталям, о которых успела позабыть: простенький деревянный гребень в волосах бабушки, перекинутое через плечо желтое посудное полотенце, серебряную змейку речки, которую можно было увидеть, раскачавшись до клокочущего в горле сердца...

Над калиткой раскинулась чудом прижившаяся груша неведомого для этих краев сорта. Обернутый во влажную тряпицу саженец отец вез из крохотного литовского городка Дукштас, добираясь домой на перекладных почти неделю. Высадил деревце на краю сада, сразу за калиткой, там, где невысокий, но крепкий выступ скалы, образуя мелкую ложбинку, защитил бы непривычное к новому климату растение от промозгой влаги зимы и иссушающего жара лета. Груша сразу же вытянулась, но потом замедлилась в росте и, распавшись в

кроне на две макушки, раздалась в боках. К пятому году жизни она обвесилась крупными сочно-сладкими желтоватыми плодами, нежно розовеющими обернутой к солнцу стороной. Первый свой урожай она дала в год, когда родилась Сильвия, потому в доме принято было считать, что это ее дерево. Маленькая Сильвия с удовольствием ухаживала за «своей» грушей: рыхлила землю, поливала, подсыпала древесной щепы – чтобы та удерживала влагу, прилежно осматривала серовато-шероховатый, в редких крапушках чечевичек, ствол в поисках пятен от болезни: однажды, обнаружив крохотную отметину, не успокоилась, пока отец, вычистив ее, не обработал место поражения медным купоросом и садовым варом. Весной литовская груша невестилась, покрываясь, словно густой гипюровой фатой, снежно-кремовыми цветками. Они появлялись еще до листиков, пахли робко-сладким и долго не облетали. Маленькая Сильвия любила встать на цыпочки, осторожно притянуть к себе ветку и, стараясь не дышать, зарыться лицом в нежные лепестки, ловя их легкий ненавязчивый аромат. К середине лета, когда налившиеся плоды гнули к земле ветви, она собственноручно подпирала их специальными двурогими брусьями-опорами. Бережно, стараясь не поранить нежную кожицу, укладывала созревшие плоды в деревянные ящички, которые потом отправлялись в большой погреб – на хранение. Бабушка, старавшаяся пускать на заготовки и сухофрукты всякий собранный в саду урожай, на литовскую грушу даже не замахивалась, жалея ее для переработки. «Так съедим», – приговаривала она, окидывая довольным взглядом увешанное сладкими плодами, облюбованное медоносными пчелами дерево.

По далекой детской привычке Вдовая Сильвия считала литовскую грушу своей, и если в уходе за садом и огородом охотно принимала помощь соседней, то к этому дереву никого не подпускала, справляясь даже с такой непростой работой, как обрезка ветвей. Будущему зятю она чуть ли не с порога заявила: «Это – мое дерево». «То есть остальные деревья в саду я могу считать своими?» – не растерялся тот и, смешавшись, покраснел. Вдовая Сильвия с удовлетворением отметила его смущение (совести, значит, не лишен) и решила, что дочь сделала правильный выбор. Чувство юмора, наравне с совестью и преданностью, она ценила пуще остальных качеств. Терпеть не могла скарденности, но и расточительности не поощряла. Сторонилась завистливых людей, сплетен на дух не переносила, пропуская их мимо ушей. О любви не заговаривала – ни с близкими, ни с родными, однако никто из них не сомневался – о любви она знала больше, чем кто-либо еще в этом мире.

На завтрак Сильвия отварила овсяной каши, немного ее передержав – недавно с изумлением обнаружила, что дочь любит, подождав, когда овсянка остынет, скрести ложкой по дну эмалированной кастрюльки, подъедая подрумяненную корочку. К тому времени, когда она заглянула в спальню, Анна успела переодеть и покормить проснувшегося сына. Сильвия поставила на прикроватную тумбочку поднос с завтраком, поцеловала сначала дочь, потом, умильно лопоча, – внука.

– Пойду погуляю с ребенком. Решилась наконец, – заявила она и добавила не терпящим возражений голосом: – А ты поешь и поспи, слышишь меня?!

Анна спорить не стала. Она не совсем еще отошла от последнего месяца беременности, когда, измученная беспокойно ворочающимся в тяжелом животе младенцем, вынуждена была бодрствовать почти сутками. Потому сейчас использовала каждую минуту, чтобы доспать.

Стараясь не шуметь, Вдовая Сильвия выкатила коляску из дома, изрядно помучилась, спуская ее во двор. Перенесла туда тепло укутанного младенца, накрыла его простеганным ватным одеяльцем. Проверила еще раз содержимое сумки, в которую сложила все, что могло ему понадобиться. Тронулась в путь. С непривычки все выходило не так: сначала она умудрилась зацепиться верхом коляски за ветку литовской груши, затем застряла колесом в проеме калитки, вдобавок еще и не удержала ее, и та, выскользнув, с громким стуком захлопнулась и лязгнула заржавелой неповоротливой щеколдой.

– Отвинчу тебя к чертовой матери! – пригрозила Сильвия, срывая злость на щеколде, которой с того дня, как приладили к калитке, ни разу не удосужились воспользоваться.

По вымощенной галькой дорожке коляска покатила плавным ходом, оставляя за собой влажный отпечаток колес. Всмотревшись, Вдовая Сильвия различила в узоре череду сердечек. Сунула руку за пазуху, нащупала кулон в форме сердца, который носила, не снимая. Подумала, что совпадения редко бывают случайными. Заглянув за шторку и убедившись, что внук спит, она набрала в грудь воздуха, медленно выдохнула, успокаиваясь, и, подбодрив себя гагаринским «поехали», выкатила коляску на улицу. Держалась ближе к кромке, огибая лужи и увязая колесами в подмерзшей грязи, привычно поругивая городские службы, так и не сподобившиеся сделать хоть какие-нибудь тротуары.

В некоторых домах уже затопили дровяные печи, и воздух сытно пах дымом и обогретым кровом. Где-то внизу громко загагакали гуси, им ответил заполошный петушинный крик и лай дворовых псов. Вдовая Сильвия притормозила, дожидаясь, пока ленивый лай, переметываясь со двора на двор и поднимаясь вверх по холму, благополучно стихнет на самой его макушке, – и лишь тогда продолжила путь. Прохожих в этот полуденный час было мало. С каждым она здоровалась и, выслушав поздравления, благодарила и продолжала путь. Никто из встреченных попыток заглянуть за шторку не делал, и все же, памятуя о бесхитростной, но от этого не менее раздражающей манере своих земляков совать куда не следовало нос, Сильвия бдительности не теряла. С людьми у нее всегда складывались ровные и уважительные отношения, но общение она старалась сводить к ни к чему не обязывающим приветствиям с дежурными расспросами о здоровье. На предложение зайти в гости, поблагодарив, неизменно отвечала вежливым отказом. К себе тоже не звала. Ее любили и ценили, но, вспомнив о ней, суеверно стучали по дереву костяшками согнутых пальцев – чтоб не приманить к себе испытание, которое выпало на ее долю. За глаза ее часто называли бедняжкой, но неизменно добавляли – слава богу, что теперь у нее все хорошо.

Смерзшаяся за ночь земля к полудню оттаяла, превратившись в труднопроходимую грязь. Коляска подскакивала на ухабах и застревала то одним, то другим колесом в жижистых ямах. Приходилось сильно наваливаться на ручку, чтобы проехать дальше. Добравшись до конца улицы, Вдовая Сильвия совсем выбилась из сил. «Похвастать внуком хотела? Ну и как? Довольна собой?» – приговаривала она сквозь сбитое дыхание, потирая онемевшие от напряжения руки и проклиная себя за упрямое желание прогуляться в столь неподходящую погоду. К счастью, младенец, безучастный к тревоблениям бабушки, мирно спал, укутанный в теплое одеяльце и воздев кверху крохотные, затянутые в две пары шерстяных рукавичек, кулачки. Пеленать его, следуя новомодным тенденциям, Анна не позволяла, и Вдовой Сильвии пришлось, скрепя сердце и наступив на горло обычаю, уступить дочери. Раньше ведь как было? Расстелил одну пеленку, сверху, сложив пополам треугольником, положил вторую, надел на ребенка мягкую фланелевую распашонку, завязал тесемки чепчика узлом, заправив концы под ворот распашонки, приладил между ножек марлевый подгузник, затянул их нижней пеленкой, ручки – сложенной треугольником верхней и туго замотал в одеяльце так, чтобы только щеки торчали. Запеленатый, младенец спал спокойнее, потому что не пугал себя дергающимися ручками, да и, как уверяла бабушка, вырастал ладным и стройным – тугое пеленание выправляло тело.

– А если у него ноги кривыми будут? – отчаявшись переубедить дочь, сделала робкую попытку перетянуть на свою сторону зятя Сильвия, наблюдая за тем, как Анна укладывает младенца спать в мягких штанишках.

– Футболистом сделаем. Кривоногий футболист – находка для любой команды, – отшутился зять.

– Оба два балбеса, – возмутилась Сильвия, но махнула рукой – пусть в этот раз будет, как хотят!

Городская площадь была почти безлюдна. Двор управы пустовал, из банка вышли два одинаково худющих, сутуловатых солдатика и, пересчитывая на ходу купюры, направились к продуктовым ларькам. От здания полиции, пронзительно взыв сиреной, но сразу же захлебнувшись, отъехала машина, полицейский, молодой курчавый парень, высунув руку в окно, помахал Вдовой Сильвии: простите, тетечка, не заметил коляску. Она кивнула: ничего страшного, но добавила про себя – остолоп безглазый.

На лавочке перед зданием управы сидели две старушки. Одна – большая, круглощекая и улыбчивая, с детским конопатым лицом, вязала в четыре спицы. Иногда, отрываясь от дела, она поднимала голову и провожала пытливым взглядом редких посетителей, стараясь угадать по выражению лица, за какой надобностью они пришли в управу. Другая – смугленькая и горбоносая, резво орудуя ножом, перебирала большой пучок просвирняка. Поздоровавшись со старушками, Вдовая Сильвия первым делом осведомилась об их здоровье.

– Кости ноют, дочка. К снегу, – благожелательно ответила горбоносая. В ее голосе не прозвучало ни сетования, ни расстройств – а только смирение. Круглолицая, с одобрением оглядев шторку коляски, поинтересовалась, как внука назвали.

– Да вот раздумывают пока, – вздохнула Сильвия. И неожиданно для себя разоткровенничалась: – Хотелось бы, конечно, чтобы назвали именем моего отца.

– Ованес – хорошее имя. Доброе, – поспешили согласиться старушки.

Сильвия собиралась уже спросить, где они раздобыли в декабре просвирняк, но не успела – внимание старушек отвлекли хмурые люди, высыпавшие из здания суда.

– Видно, в разбирательстве объявили перерыв, – возвестила полненькая старушка, разглядывая разбредающуюся по площади толпу, и со вздохом добавила: – Такая беда, такая беда!

– А что случилось? – всполошилась Вдовая Сильвия. Поглощенная заботами о внуке, она упустила последние новости.

– У Сайинанц Петроса сыновья подрались, какую-то ерунду не поделили. Старший толкнул младшего, тот упал, разбил голову. Одного похоронили, а другого посадят. Бедный Петрос, как теперь ему с таким горем жить! Было у человека два сына, остался один, да и тот с поломанной судьбой!

Старушки покряхтели, поцокали языком. Чернявая постучала по краю скамейки, боязливо поплевала – тьфу-тьфу-тьфу, Аствац-джан, отведи от нас такую беду!

По краю площади, тяжело опираясь на палку, шел высокий худощавый старик в истрепанном на локтях и вороте клетчатом пальто. Полненькая старушка, заметив его, мигом вынырнула из тягостных раздумий, толкнула локтем чернявую – глянь, ухажер твой идет, помнишь, как в молодости за тобой ухлестывал? Чернявая хмыкнула, отложила нож, уставилась на старика. Тот, почуяв пристальное к себе внимание, браво развел плечи, скользнул пальцами по пуговицам пальто, проверяя, все ли застегнуты. Навесив на лицо непроницаемое выражение, он пошел, хорохорясь и небрежно, словно делая одолжение, опираясь на палку.

– Ходит с таким видом, будто его вулкан еще не потух! – проскрипела едко чернявая, когда старик поравнялся с ними.

Полненькая, от неожиданности выпустив спицы, всплеснула руками и уставилась на подругу. Вдовая Сильвия поспешно наклонилась, делая вид, будто ищет что-то в сумке с вещами младенца. Совладав с предательской улыбкой, она подняла голову, поздоровалась со стариком. Тот, хоть и не расслышал слов чернявой старушки, но догадывался, что ничего хорошего она не сказала. Потому, подчеркнуто вежливо ответив Вдовой Сильвии и кивнув полненькой, он

не удостоил взглядом другую старушку и пошел дальше, не убавляя скорости. Хватило его запала, правда, ненадолго: добравшись до ларечка, торгующего всякой мелочью, он, якобы для того, чтобы внимательно рассмотреть товар, а на самом деле с целью справиться с отдышкой, тяжело облокотился на витрину. Палка со стуком упала и откатилась к краю тротуара, гремя железным набалдашником. Кто-то из прохожих поднял ее, участливо спросил, нужна ли помощь. Старик помотал головой – все в порядке, отдышаться надо. У Вдовой Сильвии больно сжалось сердце. Своего отца она пожилым не застала. Ему сейчас было бы столько же лет, сколько этому старику, и он бы, конечно, тоже хорохорился при виде симпатичных посторонних старушек... Хотя кто его знает, не уйди он так рано, и мама, наверное, бы жила, и они тогда все вместе пошли бы гулять с младенцем, увязая по щиколотки в грязи и ругая городские службы за то, что так и не удосужились провести хотя бы мало-мальских дорог...

Из печальных раздумий ее вывела перепалка старушек. Полненькая ругала чернявую за то, что та неучтиво обошлась с кавалером.

Чернявая с раздражением отмахивалась – ничего, переживет.

– Пережить-то переживет. Но зачем ты его потухшим вулканом обзываешь?

– А что, у тебя на этот счет имеются другие сведения? – ехидно поинтересовалась чернявая.

Полная, мгновенно оскорбившись, поднялась со скамейки и ушла не попрощавшись. Вдовая Сильвия хотела последовать за ней, но решила переждать поток возвращавшихся на слушание людей. Старик, заметив, что двор суда стремительно пустеет, заковылял обратно. Поравнявшись с чернявой старушкой, которая как раз, дочистив просвирняк, заворачивала его в газетный обрывок, он, поколебавшись, все-таки учтиво поклонился и поздоровался:

– Добрый день, Анушик-джан!

– Иди куда шел, – сердитый голос чернявой, прогремев набатом, настиг вторую старушку и больно толкнул в спину. Та остановилась, но оборачиваться не стала. Чернявая засеменила к ней, отряхивая на ходу подол шерстяной юбки. Поравнявшись с Сильвией, она сунула ей кулек с зеленью – свари дочери суп, кормящей матери он нужнее. Та онемела от неожиданности, но, мигом стряхнув

оцепенение, растроганно поблагодарила и спросила, сколько денег должна. Чернявая скривилась – не нервируй меня дурацкими вопросами! Обернувшись к старику, она бросила – вскользь, делано безразличным тоном:

– Заходи в гости, Самсон. Чаю, так и быть, тебе налью.

– Вот ведь язва! – развел руками старик. Окрыленный приглашением на чай, он мгновенно расцвел и скинул, казалось, с десятков лет. Вдовая Сильвия наблюдала происходившие с ним перемены, не скрывая улыбки.

На прощание старик поинтересовался, как внука назвали.

– Ованес, – неожиданно для себя соврала Сильвия и густо покраснела, не найдя объяснения собственной лжи. К счастью, старик не заметил ее замешательства.

– Хороший у тебя был отец, дочка. Добрый, – вздохнул он, и, по-родительски похлопав ее по щеке, направился к зданию суда, тяжело опираясь на палку и с оханьем подгибая ноющую ногу.

Когда Анна в телефонном разговоре сообщила о своем желании рожать в Армении, Вдовая Сильвия, не поверив услышанному, несколько раз переспросила: «В Армении? В Берде? Рожать?» Получив утвердительный ответ, она, перепугавшись, попыталась отговорить дочь:

– В Воронеже специалисты и клиники лучше, зачем тебе наша захудалая больница? Да и стоит ли лететь из одной страны в другую, рисковать собой и ребенком?

Но Анна стояла на своем. И Вдовая Сильвия, едва скрывая слезы радости, уступила.

Первым делом она сбегала на кладбище – рассказать о новости родителям. Прикупив на обратном пути десять свечек, половину поставила в часовне, а остальные принесла домой, чтобы зажечь их перед статуэткой Богоматери.

Статуэтка стояла на краю комода, с таким расчетом, чтобы луч рассветного солнца, проникая сквозь узкий зазор между шторами, падал на ее трогательное, по-детски кругленькое и розовощекое, совсем не скорбное лицо. Вдовая Сильвия привезла ее из своей последней поездки в Ереван. Все ее выезды в большой мир можно было сосчитать по пальцам одной руки – после возвращения в Берд она старалась его не покидать. Местному неврологу, заподозрившему у нее серьезное заболевание, стоило немалых усилий убедить ее выбраться в столицу, где в специализированной клинике можно было сделать все необходимые обследования. Красочно описав последствия болезни со странным названием «рассеянный склероз», он все-таки добился своего и, снабдив пациентку нужными бумагами, проводил ее в столицу. Скоротав два долгих дня в новенькой, с иголки клиники нейрохирургии, Вдовая Сильвия получила на руки совершенно нелепое заключение, где крупным и неожиданно читабельным почерком было написано, что диагноз нельзя подтвердить из-за пограничного состояния пациентки, но и снять подозрения тоже не представляется возможным из-за того же пограничного состояния. Осанистый широкобровый невролог, выдавший ей заключение, посоветовал дообследоваться в какой-нибудь заграничной клинике. В Израиле, например, или в Германии. «Они там точно сумеют подтвердить заболевание. Ну или исключить его», – поспешно поправился он.

– Это дорого? – спросила Вдовая Сильвия.

– Очень.

– Не знаете, насколько «очень»? – чтоб занять паузу, возникшую, пока складывала в кипу справки и снимки, неловко пошутила она.

– Не могу сказать точно. Счет выставляет клиника. Думаю, как минимум тысяч двадцать долларов.

– Тысяча двадцать?

– Нет, что вы. Тысяч двадцать. То есть двадцать тысяч.

– Очень дорого, – покивала, соглашаясь, Вдовая Сильвия, ругая себя за бестолковость.

– Но здоровье дороже любых денег! – заученно бодрим голосом затараторил невролог, для убедительности широко жестикулируя. На полном запястье блеснул золотом вычурный браслет часов. Он заправил их под рукав халата и продолжил тем же фальшиво-жизнерадостным тоном: – У каждого армянина в родственниках половина страны. Можно подзанять, кредит, в конце концов, оформить. Есть еще благотворительные фонды, но там очередь большая, да и, говоря по правде, – здесь он подался вперед и заговорщицки понизил голос, – денег у них так мало, что, когда выбор стоит между ребенком и взрослым, они помогают детям... Ну вы же понимаете?!

Вдовая Сильвия, заверив, что все понимает, с облегчением откланялась. Время до автобуса терпело, и она решила прогуляться по городу. В гулком переходе, ведущем от крытого рынка к мосту, она набрела на лоточек, торгующий керамическими статуэтками. Нарочито неладные, толстобокые и круглощечные, но невозможно умильные, эти статуэтки не оставляли равнодушными никого – всякий прохожий непременно останавливался и, повертев их в руках, выбирал себе одну или же, посетовав на дороговизну, но все же отпустив какую-нибудь добрую реплику в адрес автора, ретировался. Автор, он же продавец – невысокий, невероятно худющий молодой человек, совершенно смуглый и ослепительно-зеленоглазый, – смущенно благодарил и извинялся, что не может сбавить цену.

– Тогда уж совсем задаром отдавать, – тянул он на певучем севанском наречии, потирая озябшие руки и попеременно постукивая одним ботинком об другой – в переходе было ощутимо холодно.

Вдовая Сильвия сразу заметила для себя статуэтку Мариам.

– Сколько за Богородицу просите? – спросила она.

Молодой человек, от удивления выкатив глаза, хотел было ответить, но закашлялся и принялся хватать воздух, по-птичьему дергая головой и широко разевая рот. Вдовая Сильвия поспешно обошла прилавок, постучала его по спине, ужаснулась худобе – позвонки выпирали, словно ребра стиральной доски.

– Болеете? – осведомилась участливо она.

– Это почему же?

– Худой очень, – виновато улыбнулась Вдовая Сильвия.

– Ем как не в себя, но все равно не толстею, – улыбнулся молодой человек, трогательным детским жестом утирая глаза краем ладони. Она невольно залюбовалась его необычной красотой: короткостриженные каштановые волосы, смугло-золотистая кожа, матово-зеленые, будто илистые, глаза. Несмотря на свою донную густоту, смотрели они ясно и открыто, и взгляд их был весел и легок.

– Сколько за Богоматерь просите?

– О том, что это святая Мариам, знал только я. Вы – первая, кто об этом догадался. Так что я ее вам задаром отдам.

Вдовая Сильвия воспротивилась, но он решительно замотал головой – и не начинайте! Она оставила ему в благодарность всю еду, которую у себя нашла: горсть шоколадных конфет и яблоко.

– Как вы поняли, что это Мариам? – спросил он на прощание.

Она с минуту разглядывала круглые, в двойных ямочках, детские щеки Богоматери, ее прижатые к полной груди большие руки, мягкие складки фартука, в карманах которых явно что-то лежало: сухофрукты или, может быть, грецкие орехи. Или же, вполне возможно, это были куриные яйца, которые она, причитая, собрала с грядок, ругая бестолковую птицу, несущуюся где попало.

– А я и не поняла, – ответила Вдовая Сильвия. И, чуть поразмыслив, неуверенно предположила: – Сердцем, может, почувствовала?

Вернувшись с кладбища, Вдовая Сильвия первым делом тщательно соскребла с подошв туфель налипшую грязь, протерла их влажной тряпочкой и, вынеся во двор, надела на кольца забора. Пусть повисят в тени, вечером уберет. Потом она вымыла лицо и руки обычным хозяйственным мылом, запах которого терпеть не могла, но, свято веря в его дезинфицирующие способности, преданно им пользовалась. Всю одежду, в которой была, она старательно вытряхнула и убрала в шкаф, дверцу которого оставила настежь – тоже до вечера. Солнечный

луч, беззастенчиво пробравшись внутрь, тускло забликовал на задней стенке, отразившись в стекле. Издали могло показаться, что там висит картина. На самом деле это был обнесенный стеклом лоскут фланелевой ткани с неровными рваными краями. Узор на нем был откровенно детским: пушистые желтые цыплята и утята, мохнатые облака со смеющимся круглощеким солнышком. Среди вешалок с одеждой этот убранный в раму лоскут смотрелся неуместно и даже нелепо, будто вырванное из одного времени событие, бесцеремонно вставленное в другое. Впрочем, Сильвию это не смущало. Она намеренно распределила внутреннее пространство шкафа таким образом, чтобы каждый раз, когда распахивала дверцу, ее взгляд первым делом падал именно на этот лоскут.

Затебив перед статуэткой Богоматери принесенные свечи и наспех пообедав, она взялась приводить в порядок комнату для дочери, под которую определила родительскую спальню. Это была лучшая комната в доме: просторная и уединенная, она выходила балконом на огромный, карабкающийся малинником вверх по склону сад. Летом там было прохладно, зимой – наоборот, тепло, и все благодаря солнцу, в разное время года по-разному освещающему западное крыло дома.

Обстановка в родительской спальне не менялась больше полувека, оставаясь такой, какой ее продумала бабушка, когда подготавливала комнату к заселению новобрачных – сына и его избранницы. Вдовая Сильвия любила в той обстановке все: широченный темного дерева шкаф в бронзовой фурнитуре; кровать с низким изголовьем и двумя прикроватными тумбочками с массивными латунными подсвечниками; основательный и толстобокий бельевого сундук, выглядящий неожиданно воздушным благодаря изящной резьбе, украшающей его выпуклую крышку; рассеянный вечерний свет дымчатых плафонов люстры, мягко отражающийся в натертом воском деревянном полу; массивное, обтянутое бархатом цвета выгоревшей травы кресло, в подлокотнике которого, если поддеть его за край и потянуть в сторону, обнаружится пепельница, навсегда пропахшая любимыми отцовскими сигаретами «Двин»... Правда, удобное на вид кресло на поверку оказалось совсем не таким: от неловко изогнутой спинки быстро затекала шея, а слишком жесткое сиденье не располагало к расслабленному отдыху. Потому отец проводил в нем совсем недолгое время, ровно столько, чтобы хватало выкурить пару сигарет и, проигнорировав первые страницы местной газеты, пробежать глазами спортивные новости. Под конец он всегда оставлял фельетоны, которые зачитывал вслух, похихатывая и отмечая прекрасное чувство юмора и отличный стиль. Мать на его похвалы поджимала губы (автор фельетонов, строптивая и своевольная журналистка

Шушаник Амирян, снискала себе не очень добрую славу), но вынуждена была соглашаться – написано виртуозно!

Вдовая Сильвия берегла каждую, даже самую, казалось, незначительную деталь интерьера родительской спальни, не делала там перестановок, оставляя все так, как было еще при бабушке. Одно время она собиралась перебраться туда, но так и не решилась – побоялась потревожить и разогнать ощущение незримого присутствия родителей, которое испытывала каждый раз, когда заглядывала в их комнату. Но она любила проводить там вечера, особенно осенние, когда бережный свет уходящего солнца затушевывал медовым сиянием буйное разноцветье листвы. Она могла сидеть подолгу в отцовском кресле, не тяготясь его жесткостью, с книгой или вовсе без дела, и любоваться красотой осеннего сада, ни о чем, кроме этой красоты, не размышляя – с возрастом она научилась отгонять плохие мысли. Изредка она выдвигала полочку с пепельницей и, повозюкав по ее дну указательным пальцем, принюхивалась, упиваясь знакомым с детства горьким табачным запахом, который прочно ассоциировался у нее с отцом.

Если позволяла погода, вечернюю чашечку кофе она выпивала на балконе родительской спальни. Неотрывно глядела на линию горизонта, постепенно выцветающую из ярко-золотистого в простиранный голубой. Пела иволга, перебивая свой же монотонный свист нежно-вопросительной, берущей за душу трелью. «Надо же! – удивлялась Сильвия. – Всю жизнь слушаю ее пение и не могу наслушаться».

В последний месяц, когда стало ясно, что матери ничем уже не помочь и она потихоньку угасает, Сильвия мыла ее здесь же, приспособив под купание большой жестяной таз, в котором замачивала белье. Она растирала исхудавшее тело матери полотенцем, подстригала ногти, одевала в чистое, бережно расчесывала поредевшие волосы, сушила их феном. Непременно повязывала любимый шелковый платок, предварительно слегка его надушив. Мать по-детски трогательно задирала подбородок и подставляла шею, чтобы удобнее было завязать платок, и благодарно улыбалась. Говорить она совсем уже не могла, чаще, напичканная лекарствами, спала, и тогда Сильвия лежала подолгу рядом, глядя ее по руке, или же, оставив приоткрытой дверь, чтоб услышать, если она проснется, уходила в соседнюю комнату, где, включив телевизор на маленькую громкость, смотрела какой-нибудь сериал. Вечерами, когда солнце закатывалось за плечо Хали-Кара, она выносила больную на балкон. Та лежала на тахте, накрытая теплым пледом, а Сильвия, устроившись за крохотным

столиком, пила кофе. Если мать пребывала в благостном настроении, она пересказывала ей новости или читала ее любимого О. Генри. Мать слушала, прикрыв глаза, иногда слабо улыбалась. Если уставала, сжимала пальцы в кулак или же легонько хмурилась, и Сильвия тотчас же покладисто прерывала чтение. И наступала такая тишина, что слышно было, как внизу, на самом дне ущелья, шумит ледяная горная речка. Сильвия каждый раз с удивлением подмечала, как резко, словно по мановению палочки, умолкает птичий гомон. Только что вроде бы щебетали довольные ласточки и склочно чирикали воробьи, – а вот уже наступила вязкая деревенская тишина, густая и непроходимая, словно илистый берег водоема. Следом за кромешной тишиной приходил запах моря. Он поднимался со дна ущелья и затапливал собой, казалось, все видимое и невидимое пространство. Сильвия думала, что только сама его ощущает, но однажды мать сквозь полудрему прошелестела: «Так пахнет, что кажется – если прислушаться, можно различить плеск волн». – «Чем пахнет?» – «Морем».

Она умерла в последнюю неделю октября, не приходя в сознание и не попрощавшись с дочерью. С тех пор Сильвия не отмечала своего дня рождения, не оттого, что наступал он сразу за очередной годовщиной смерти матери, и даже не в знак траура по ней, а потому, что с уходом родителей не видела смысла в своем существовании.

С подготовкой спальни она провозилась до ночи. Перемыла по новой окна и вынесла на стирку шторы, натерла полы воском. Перетащила в хозяйственную комнату содержимое бельевого сундука. Освободила все полки шкафа. Поколебавшись, принесла из своей комнаты истрепанный томик стихов Терьяна[4 - Ваан Терьян (1885–1920) – армянский поэт.], положила его в ящичек прикроватной тумбочки – пусть побудет возле дочери, постережет ее покой.

Домой добрались быстрее, чем на прогулку собирались. Вдовая Сильвия наконец-то приноровилась к ходу коляски и даже научилась, легонько налегая на ручку, объезжать неровности на дороге. В какой-то миг ей показалось, что младенец проснулся, и она, осторожно отогнув край шторы, заглянула к нему, но он спал, крепко укутанный в одеяльце, совсем еще крохотный, не отошедший от перехода из одного мира в другой, но, судя по довольному круглому личику – вполне уже с этим смирившийся. Глаза его были полуоткрыты, умилительно торчали редкие реснички, крылья носа украшала мелкая россыпь белых пятнышек, щечки слегка румянились от холодного воздуха. Вдовой Сильвии нестерпимо захотелось взять его на руки, прижать к себе, вдохнуть молочный

запах нежной кожи, и она даже потянулась к нему, но сразу же одернула себя, обозвав безголовой дурой. Катил коляску, представляя, как вернется домой, как поскребется в комнату дочери, как та проснется – пахнущая сладким покоем ее девочка, как, поморщившись от тянущей боли – шов после кесарева быстро затягивался, но упорно ныл, она повернется на бок, высвобождая из прорези ночной рубашки набухшую, в прожилках голубых вен, большую грудь и станет кормить сына, водя по его щечке указательным пальцем, а он будет жадно пить, давясь тугой струей молока, вынуждая мать оттягивать сосок, чтобы дать ему отдышаться, и строить умильные гримасы, сердясь, что прерывают кормление. Ишь, сам размером с носовой платок, а уже с характером, растроганно прошепчет Вдовая Сильвия, подкладывая под щечку внука салфетку, чтобы поймать тоненькую струйку молока, вытекающую из жадного ротика.

А потом он уснет у матери под боком, и она будет лежать – неловко изогнувшись, подложив под щеку ладонь, и без усталости любоваться им. Ровно так много лет назад любовалась новорожденной дочерью Сильвия, ровно так водила пальцем по ее щечке, когда она, давясь молоком, жадно пила, втягивая воздух крохотными, в булавочную головку, ноздрями, чепчик ее съехал набок, обнажив прозрачную раковину розового ушка и нежный пух волос, золотистый от матово-рассеянного света ночника. Пеленка, на которой она лежала, завернулась с краю, и Сильвия пригладила ее, а потом водила пальцем по контурам пушистых желтых цыплят и утят, мохнатых облаков со смеющимся круглощекимым солнышком, и, если бы ее спросили, что такое счастье, она бы ответила, ни секунды не сомневаясь: счастье – вот оно, рядом, и другим оно не бывает.

Анна проснулась сразу, как только мать приоткрыла дверь в комнату. Сонно улыбнулась, спросила одними губами – как погуляли? Прекрасно, тоже одними губами ответила Вдовая Сильвия, и сразу же повысила голос – чего это мы шепчем, он ведь пока почти ничего не слышит! Она подробно рассказала о прогулке, в красках расписав историю старушек и благоразумно опутив новость о трагедии, постигшей семью Сайинанц Петроса (зачем расстраивать кормящую мать). Обрадовав дочь вестью о чуде раздобытом просвирняке, она ушла на кухню – варить суп. Мацуна для чесночного соуса осталось совсем мало, пришлось разбавлять водой. Нужно будет позвонить молочнице, заказать литров пять молока, чтоб и мацун заквасить, и творога сготовить – последний на завтрак ушел. После смерти матери Сильвия вынуждена была продать корову и коз – возни с ними было много, да и деньги были очень нужны. Ну а потом, когда выправилась, заводить снова живность не стала, рассудив, что молока ей нужно совсем мало, дешевле покупать, чем со скотиной возиться.

Выключив под кастрюлей огонь, она сразу же налила тарелочку супа, а вот добавлять туда чесночный соус не стала, вовремя вспомнив, что острое может испортить вкус материнского молока. Заставив поднос корзиночкой с хлебом и блюдцем с малосолевой брынзой, она, осторожно ступая, направилась к комнате дочери. Толкнув локтем дверь, поймала конец фразы, которую та произнесла с нескрываемой нежностью: «...как стану выходить из дому, первым делом отправлю тебе по почте фотографии ребенка...»

Анна при виде входящей в комнату матери смешалась, на полуслове оборвала себя и отключила телефон. Ничего не говоря, Вдовая Сильвия поставила поднос на прикроватную тумбочку таким образом, чтобы дочери не нужно было за ним тянуться. Та приподнялась на локте, коснулась ее руки.

- Мам, я просто хотела...

- Не оправдывайся.

- Он мой отец, он имеет право видеть внука. - Анна досадливо поморщилась, сердясь на себя за то, как все так глупо вышло.

С усилием проглотив колючий ком в горле, Сильвия выдавила: «Ешь, пока не остыло. А я пойду чаю заварю».

Боясь выпалить в сердцах лишнее и обидеть ни в чем не повинную дочь, она поспешно вышла из комнаты. Добравшись до ванной, закрылась там с той поспешностью, с которой запираются, спасаясь от преследования. Дышать стало невозможно: воздух, превратившись в стеклянные осколки, ранил горло и рвал легкие. Сердце с такой яростью билось в груди, будто хотело проломить ребра и выскочить наружу. Вдовая Сильвия пустила воду, подержала под ледяной струей руки, не ощущая холода. Подняла глаза, поймала в зеркале искаженное злостью свое лицо, усмехнулась. Яростно ополоснулась и утерлась полотенцем. Слез не было, отчаяния тоже. Только каменная, неподъемная обида, с которой она справляться так и не научилась.

- Ма-ам? - раздался за дверью обеспокоенный голос Анны. Она не сразу вспомнила, как отпирается задвижка, бестолково подергала ручку, наконец-то сообразила, что нужно отвести в сторону металлический язычок и нажать на кнопку. Дочь стояла в узком коридорчике - босая, в ночной рубашке,

придерживая себя под животом, с заколотым на макушке растрепанным пучком волос – и жалко кривила рот. Вдовая Сильвия еще не научилась распознавать все ее гримасы, но именно эту, беспомощно-виноватую, успела выучить наизусть. Анна всегда так делала, когда пыталась исправить неловкую ситуацию, возникшую из-за допущенной ею оплошности. Нужно было как можно скорее уводить разговор в сторону, чтобы она не расплакалась.

– Кто тебя просил шлепать босой по холодным полам! – напустилась Вдовая Сильвия на дочь. – Простыть хочешь? Мастита тебе не хватало? Ну-ка, марш в постель!

Анна подалась вперед, крепко, всем телом прижалась к матери, словно желая обратиться с ней в единое целое, горячо зашептала:

– Прости, пожалуйста. Если ты против, я больше не буду говорить с ним о ребенке.

– Я бы очень тебя ругала, если бы ты именно так поступила, – ответила Вдовая Сильвия, делая ударение на «так».

Она накинула на плечи дочери банный халат, заставила надеть свои тапки и повела ее в спальню, легонько подталкивая в спину и причитая – ишь чего надумала, глупенькая! Дочь шмыгала носом, трогательно цеплялась за ее рукав тонкими длинными пальцами и приговаривала – мамочка, мамочка.

Других детей у родителей Сильвии не случилось. Причиной тому был досадный режус-конфликт, с которым медицина в пятидесятые годы прошлого столетия не умела еще справляться. Впрочем, родители были из породы людей, умудряющихся даже в самом грустном сыскать крупицу хорошего, потому не сильно по этой причине расстраивались. Или же умело скрывали свои переживания, и в первую очередь – друг от друга. Сильвия не припомнила бы ни одного разговора, где они сокрушались, что не смогли родить еще детей.

Она росла в безграничной любви. Каждый ее день рождения превращался в огромный праздник, а подарков, которые она обнаруживала под новогодней елкой, хватало бы на всю ее детсадовскую группу. Она почти не знала запретов, не имела ни малейшего представления о телесных наказаниях, коими не

гнушались в других семьях, и искренне расстраивалась, когда кто-то из сверстников жаловался на своих родителей. В ее представлении отец с матерью были божествами, которые ничего, кроме беззаветной любви и поклонения, не заслуживали.

Окончила школу Сильвия с золотой медалью и, с блеском сдав вступительные экзамены, поступила на математический факультет Ереванского государственного университета. Снимала комнату с одноклассницей Офелией, поступившей на филологический факультет. Девочки, не особо близкие в школе, за студенческие годы сроднились и, совершенно не кривя душой, называли друг друга сестрами. Для Офелии, выросшей с двумя братьями-дуболомами, Сильвия стала настоящей отдушиной: с ней можно было говорить обо всем, делиться секретами и мечтами, не боясь напороться на грубые издевки и обидные тумачи. Сильвия же привязалась к подруге всей душой.

Девушки со второго курса получали повышенную стипендию, потому умудрялись не только не зависеть от родных, но и в каждый свой приезд привозить им гостинцы. Не пропускали спектаклей и концертов, ходили на дополнительные образовательные лекции. Влюбившись во французскую «новую волну», караулили фильмы Франсуа Трюффо и Жан-Люка Годара. Открыв для себя утонченный западный мир, старались по возможности ему соответствовать, в том числе и в быту. Хозяйка дома, у которой они снимали угловую комнату, женщина склочная и патологически скупая, с завидным постоянством устраивала им разносы, обвиняя в расточительности. «Это что за мещанство?» – скандалила она, выдергивая из-под вазочки с фруктами белоснежную батистовую салфетку, которую Сильвия купила у обнищавшей старенькой аристократки.

– Так красиво же! – оправдывались девушки, которым в голову бы не пришло ответить грубостью хоть и чужой, но годящейся им в матери женщине.

Хозяйка выуживала из посудного ящичка купленные на блошином рынке золоченые ножи для рыбы и размахивала ими, словно саблями:

– Вы еще скажите, что и это красиво!

– А что в этом некрасивого? – сдвигала к переносице брови Офелия. Закаленная в боях с братьями, она, в отличие от Сильвии, мгновенно теряющейся в ссоре,

умела хотя бы настаивать на своем.

– Буржуазное излишество – вот что в этом некрасивого! Комсомолки голову всякой ерундой не забивают, они думают о светлом будущем страны! – выпаливала хозяйка и, кинув обратно ножи, с грохотом задвигала ящичек. Девушки давно бы сняли другую комнату, но останавливало удобное расположение дома: он находился в самом центре города, до университета и большинства театров рукой подать. Потому они сносили скандалы и несусветную скупость хозяйки, запрещавшей включать после десяти вечера свет. Из-за этого они вынуждены были ставить будильник на самую рань, чтобы не приходиться на занятия неподготовленными.

Однажды, удачно сдав зимнюю сессию, девушки вознамерились устроить по этому случаю светские посиделки: купить севанской форели и белого вина, а на десерт – фруктов и кусочек рокфора. Офелия снарядила подругу за продуктами на рынок, а сама, смыв косметику и сурово замотавшись чуть ли не по самые глаза в шерстяной платок (мало ли какие опасные личности обивают пороги магазинов, торгующих спиртным), пошла за вином. Продавец, курносый курчавый юноша, сын французских репатриантов, на вид совсем подросток, невозможно долговязый и длиннорукий, видя, как взопревшая от жары и волнения Офелия переминается перед витриной, прочитал ей небольшую лекцию о благородных качествах рислинга и уверил, что ничего приятнее она еще не пила. Офелия, плененная не столько лекцией, сколько манерами юноши – представившись, он обращался к ней старосветским «ориорд»[5 - Обращение к незамужней девушке (арм.).] и каждый раз извинялся, когда касался кончиками пальцев ее локтя, чтобы подвести к другой витрине, безропотно купила рекомендуемое.

Вино действительно оказалось хорошим, кисловатым и немного даже солоноватым, удачно оттеняющим нежный вкус рыбы. К возвращению подруги Сильвия успела припустить форель в сливочном масле с эстрагоном и запечь картофель. Получилось до того вкусно, что девушки съели все в один присест, хотя предполагали растянуть рыбу на два дня. Покончив с ужином, они приступили к десерту: красиво разложили на блюде сыр, виноград и орехи, заварили кофе, разлили по бокалам остатки вина, завели патефон. За десертом их и застала заглянувшая за очередной комнатной платой хозяйка. Окинув колючим взглядом красиво сервированный стол, она не преминула учинить новый скандал. И неожиданно для себя натолкнулась на решительный отпор: терпение девушек лопнуло, да и выпитое вино придало им храбрости, потому

они, не сговариваясь, подхватили под мышки опостылевшую хозяйку, выволокли ее из комнаты и захлопнули перед ее носом дверь.

– Я надеюсь, вы эти тридцать рублей пустите на строительство будущего страны! – ехидно бросила Офелия, сунув ей деньги. Сильвия прыснула и сползла по стенке, шепотом подсказывая: «Светлого! Светлого будущего».

Придя в себя от потрясения, хозяйка какое-то время заливисто ругалась и даже пыталась втиснуться в окно, но разошедшаяся Офелия пригрозила отрезать ей язык рыбным ножом. Угроза удивительным образом возымела действие: хозяйка прекратила третировать постоялиц и даже стала закрывать глаза на горящий по вечерам свет.

Вскороности у Офелии завязались отношения с тем самым юношей из винного отдела гастронома. На четвертом курсе она вышла замуж и съехала к нему на квартиру. Последний год обучения отчаянно скучающая по подруге Сильвия вынуждена была прожить одна. Она часто заглядывала в гости к молодоженам и, наблюдая их трогательные отношения, мечтала о такой же любви. Однако никому из кавалеров, коих на математическом факультете было множество, она предпочтения так и не отдала: сверстники казались ей дураковатыми легкомысленными подростками. Сильвия мечтала о таком мужчине, каким был герой Высоцкого в фильме «Служили два товарища». Ее покорила образ мужественного поручика-белогвардейца, самоотверженно и по-настоящему любящего страну и не представляющего своей жизни без нее. Офелия, не понимающая, как можно предпочесть красным офицерам белогвардейца, восторгов подруги не разделяла, но благоразумно помалкивала, ведь сама тоже отличилась, выйдя не за обычного советского комсомольца, а за сына репатриантов, бежавших от большевиков во Францию сразу после падения армянской республики и вернувшихся на родину лишь после Второй мировой войны.

Замуж Сильвия вышла по меркам того времени поздно – в двадцать три года. Пропустив мимо ушей увещевания декана, прочившего ей большое научное будущее, она не стала продолжать учебу в аспирантуре и попала по распределению в город Иджеван. Ромик был старше ее почти на десять лет. Выпускник исторического факультета университета и активный общественник, он к тридцати двум годам успел продвинуться по карьерной лестнице и дослужиться до секретаря комитета по образованию. Со столь молниеносным

продвижением ему помогли связи и влияние отца, первого секретаря Иджеванского райисполкома. Познакомились молодые люди в школе, куда с проверкой выбралась комиссия роно. Сильвия к тому времени из худенького, почти тщедушного цыпленка, каким пробыла почти все студенческие годы, превратилась в цветущую девушку с довольно выдающимися, но совершенно не портящими ее стройного сложения формами. Росту она была небольшого, однако выглядела значительно выше благодаря тонкокостному легкому строению и гордой посадке головы. Не свыкнувшись с метаморфозами, которым буквально за полтора года подверглось ее тело, она слегка сутулилась, пытаясь зрительно уменьшить крупную грудь, и носила длинные пиджаки, прикрывающие отяжелевшие бедра. Впрочем, старания были излишни – даже объемная верхняя одежда не в силах была скрыть ее завлекательных округлостей. Единственное, что она успешно прятала от посторонних глаз, – это удивительно тоненькую, в один обхват мужских ладоней, талию.

– Ты похожа на песочные часы! – ошеломленно выдохнул Ромик, впервые увидев ее не в рабочем костюме, а в шерстяном, опоясанном тонким кожаным ремешком платье.

– Скажешь тоже! – зарделась Сильвия, спрятав за спиной вспотевшие от волнения ладони.

Она влюбилась в него с первого взгляда.

Природа одарила Ромика той капризной мужской красотой, которая настораживала здравомыслящих женщин: направленный куда-то в переносицу собеседника нарочито отстраненный взгляд серо-пепельных глаз, вопросительно вздернутые брови, тонкое мятежное лицо, хищный рот. Невысокий, ладно скроенный, малословный и стремительный в движениях, он оставлял впечатление решительного человека, каким на самом деле не был. Уверенности ему придавала не убежденность в собственных силах, а крепкий тыл: всемогущий отец, сдувающая с него пылинки мать, беззаветно любящие бабушки-дедушки, которых он иронично называл «рухлядью». Ромик, как и Сильвия, был единственным ребенком в семье. Но, в отличие от своей избранницы, вырос эгоистичным и необязательным. Привыкший всегда добиваться своего, он воспринимал любой отказ как личное оскорбление, был злопамятен и обид никогда не прощал.

Сильвия замечала недостатки своего возлюбленного, но полагала, что сумеет с ними справиться. Она искренне верила, что любовью и терпением можно исправить все. Ромик был первым мужчиной, которого она по-настоящему, вполне осознанно и открыто полюбила. Он был вежлив и щедр, умел красиво ухаживать, был начитан, галантен, терпелив и не нахрапист. Как и она, ценил хорошее кино и знал в нем толк. Трогательно благодарил за любое проявление чуткости. Яичницу с помидорами, пожаренную наспех Сильвией, называл не иначе как божественной, а свитер, который она связала ему ко дню рождения, упорно проносил почти месяц, игнорируя настойчивые просьбы матери – рукава уже лоснятся, Ромик-джан, дай постираю!

Офелия, к которой на новогодние каникулы выбрали погостить влюбленные, восторгов подруги не поделила, но и говорить ей ничего не стала, списав все на собственную придирчивость.

– Бывает ведь такое, человек неплохой, но необъяснимым образом вызывает у тебя отторжение, – после отъезда гостей пожаловалась она мужу.

Тот возразил:

– Почему необъяснимым образом? Очень даже объяснимым. По-моему, человек он не так чтобы очень хороший. И какой-то слишком самоуверенный. Будто пятно бензина на луже – красивое и бессмысленное. Думаю, она еще наплачется с ним.

Напуганная словами мужа, Офелия отправила Сильвии письмо, где предостерегала ее от скоропалительных решений. «Родная моя, знаешь, как я тебя люблю. Ты мне не чужая, и врать я тебе не стану. Хочу, чтобы ты не совершала опрометчивых поступков, потому прошу: не торопись с замужеством, взвесь все за и против. По-моему, Ромик не тот человек, который тебе нужен. Он, как бы это помягче выразиться, слишком сконцентрирован на своей исключительности. Боюсь, если выйдешь за него замуж, превратишься в его обслугу. Очень хотелось бы ошибаться, но ощущения у меня сложились совсем не радужные».

Сильвию письмо подруги задело. Отвечать на него она не стала и сделала величайшую глупость – пересказала его содержание Ромику. На этом дружба девушек закончилась. Офелия несколько раз пыталась возобновить ее,

отправляла подруге покаянные письма и заказывала междугородные телефонные разговоры, но Сильвия была непреклонна: она обещала своему возлюбленному, пригрозившему ей разрывом, прекратить дружбу с Офелией. И слово свое сдержала.

Свадьбу по просьбе невесты сыграли достаточно скромную и нешумную. Семья жениха подарила новобрачным квартиру, семья невесты – раздобытую с огромным трудом путевку на курорт в Юрмалу. Первое сближение новоиспеченных супругов случилось в ереванской гостинице, где они ночевали перед отлетом, и закончилось катастрофой: у Сильвии приключился сильнейший спазм, и страдающим от невыносимой боли молодым пришлось предпринять несколько попыток, чтобы высвободиться.

Она прорыдала всю ночь, перепуганная и расстроенная, Ромик же, отойдя от боли, неумело утешал ее – не бери в голову, в первый раз всякое бывает. Она, понемногу успокоившись, принялась ревниво выпрашивать, откуда он это знает, он пожал плечами: «Женщин у меня до тебя было достаточно». – «Сколько?» – «Не считал, все равно сбился бы со счета». – «Дурак!» – «Ревнуешь?» – «Очень надо! А девственницы у тебя были?» – «Нет, что ты. Девственницу испортил – будь добр жениться. А я тебя ждал». – «Ты действительно меня ждал?» – «Как видишь».

Сильвия лежала на спине, сложив под головой руки, и старалась не думать о саднящей боли в промежности. Ромик откинул одеяло, несколько секунд любовался ее красивым телом, медленно, старательно провел по нему горячими ладонями, будто стремясь запомнить каждый его изгиб. Она испуганно задержала дыхание, но он, учуяв ее страх, покачал головой – «не поверишь – сам боюсь». – «Прости». – «Да ну что ты! Прилетим в Палангу, там попробуем. Ты же не была в Литве, не знаешь, как там красиво». – «Зато у меня есть литовская груша». – «А хочешь, я тебе про цветущие рапсовые поля расскажу?» – «Хочу».

Поездку на курорт Сильвия запомнила разрозненными сценами, и, как потом ни старалась, собрать их воедино не смогла: воспоминания распадались, будто плохо подогнанные части мозаики. Вот они с Ромиком заказывают ванильное желе со взбитыми сливками, и она признается, что никогда не ела ничего вкусней, а он дразнит ее деревенщиной. Вот они в Музее янтаря наблюдают доисторическое насекомое в медовом осколке застывшей смолы, и она никак не поверит, что наличие этого прозрачного трупика делает янтарь в разы дороже.

Вот они, затаив дыхание, любуются сдержанной красотой костела Успения Пресвятой Девы. Вот стоят на закатном берегу, взявшись за руки, и наблюдают фантастическое небо Балтики, затянутое от края до края рваными лоскутами бирюзовых и абрикосовых облаков... А вот она каменеет от малейшего прикосновения мужа и бессильно рыдает от боли и унижения, ощутив очередной спазм, стеснивший мертвыми тисками ее бедра. Ромик, не меньше ее переживавший происходящее, раз за разом мрачнел, не понимая причину приступов жены и не зная, что сделать для того, чтобы предотвратить их. «Возможно, я просто урод», – как-то, доведенная до отчаяния очередным приступом, сквозь рыдания пролепетала она. «Возможно», – бросил он, ранив ее своим ответом до глубины души.

Вернувшись в Иджеван, Сильвия сразу же собралась к врачу. Попытка гинеколога провести осмотр закончилась чудовищной истерикой – она не позволила ему не то что прикоснуться, а даже приблизиться к себе. Он немедленно направил ее к психиатру, заверив, что проблемы у нее не по женской части, а вот здесь – и для наглядности постучал себя по лбу. К психиатру Сильвия не пошла из страха, что тот запрет ее в клинике для душевнобольных. Мужу она соврала, что все с ней в порядке, нужно просто немного потерпеть, а сама, записавшись на прием к терапевту и пожаловавшись на плохой сон, выпросила снотворное. Посоветоваться ей было не с кем – мать расстраивать она не собиралась, да и постеснялась бы затрагивать с ней столь личные темы, а с Офелией, которой она, ни секунды не сомневаясь, открыла бы душу, прекратила общение. Рассудив, что таблетка димедрола, выпитая на ночь, позволит расслабиться и справиться со страхом, она решила таким образом бороться с приступами. Снотворное действительно помогло, по крайней мере, оно притупило чувство паники, и обрадованная Сильвия собиралась принимать его регулярно несколько месяцев, а потом, постепенно уменьшая дозу, отменить вовсе. Но скоро обнаружилось, что она забеременела, и самолечение пришлось прекратить.

Сильвия до последнего откладывала поход к гинекологу, памятуя об истерике, которую закатила у него на приеме, однако на третьем месяце беременности все-таки собралась – нужно было заводить карту и определяться с акушером. Убедить свекровь не ехать в поликлинику она не смогла – та мало того что настояла на своем, еще и выпросила у мужа служебную машину, чтобы торжественно доставить беременную невестку к врачу. С того визита жизнь Сильвии и покатила под откос. Она снова не смогла подпустить к себе гинеколога, а на вопрос, ходила ли к психотерапевту, ответила уклончивой скороговоркой «как-нибудь потом». Свекровь, женщина вполне милая, но

темная, став свидетелем истерики невестки, сделала неутешительные выводы о ее психическом состоянии и затрубила в рог. Следующий год превратился для Сильвии в бесконечное испытание. Беременность она провела на сохранении. После родов, заставив на втором месяце прекратить кормление грудью, свекровь затащила ее по врачам. К тому времени отношения с Ромиком у Сильвии совсем разладились: он все чаще срывал на ней злость, обзывая ненормальной, а потом и вовсе стал игнорировать. Скоро у него завязались отношения с секретаршей, женщиной разведенной и ушедшей, которая, будучи в курсе событий, растрезвонила по всему городу о «сумасшествии» Сильвии. Сильвия предприняла попытку вырваться из замкнутого круга и упростила мужа отпустить ее с дочерью на неделю к родителям, вознамерившись никогда больше не возвращаться. Но любовница Ромика, моментально разгадав ее план, предостерегла его от опрометчивых поступков. Она отлично понимала, что заполучить его сможет только в случае, если дочка останется с ним, потому не просто отсоветовала отпускать жену к родителям, но и вскользь предложила упрятать ее в стационар, чтобы «ее там наконец-то вылечили». Вместе с тем она развернула масштабный фронт работы, набиваясь в доверие к матери любовника, и, добившись своего, настроила ее против «полоумной» невестки, утверждая, что она, будучи не в себе, подвергает опасности жизнь ребенка.

Спустя годы, прочитав множество медицинских статей о вагинизме, Сильвия сокрушалась, почему такое должно было случиться именно с ней. Почему ей так не повезло с лечащими врачами и мужем. Будь первые более знающими, а второй – терпеливее, и с ее бедой можно было бы справиться. Она бы сама, наверное, смогла выкарабкаться, если бы понимала, что с ней творится. Но никто не объяснил, не успокоил, не убедил, что ее вины в происходящем нет... Врачи выписывали успокоительные препараты, которые не помогали, а свекровь, не скрывающая своей неприязни, норовила всякий раз упрекнуть ее в полоумии.

Два года пребывания в севанской психиатрической клинике Сильвия запомнила одним нескончаемым беспросветным днем. Ее бы, скорее всего, не упрятали туда, если бы она, доведенная до отчаяния грубостью мужа и пренебрежительным отношением свекрови, не сделала попытки бежать. Последней каплей стала безобразная сцена, которую ей устроил полупьяный Ромик. Она вышла из ванной, на ходу натягивая на голое тело халат, он толкнул ее, зашипел, больно тыча пальцем в грудь и в бедра: «Зачем тебе такое тело, если толку от него никакого!» Она попыталась прикрыться руками, но он повалил ее на пол, перевернул на живот, придавил коленом и, дотянувшись до горшка с алоэ, опрокинул его ей на голову, стараясь, чтобы земля высыпалась на лицо.

На следующее утро, под предлогом прогулки с ребенком, Сильвия вышла из дому и, миновав сквер, где обычно проводила утренние часы, направилась на автовокзал. Чтобы не привлекать к себе внимания, решила переждать время до автобуса в привокзальном кафе. Заказала какао и булочку с сосиской, села спиной к окну, проверила, спит ли ребенок, раскрыла для отвода глаз книжку, притворяясь, будто увлеченно читает. За тем занятием ее и застал Ромик. Произошедшее дальше вымылось из памяти Сильвии почти без следа. Единственное, что она помнила, – как выхватила дочь из коляски и не выпустила ее даже тогда, когда муж резко пнул ее в бок. Задыхаясь от боли, она сползла на пол, крепко прижимая к груди свою плачущую девочку, и тогда он, ударив ее кулаком по голове, вырвал ребенка. Она вцепилась в край пеленки, слышала, как трещит ткань, перепугалась, что сделает больно дочери, но не смогла разжать пальцев. Ее так и отвезли в клинику – с крепко стиснутым в кулаке лоскутом пеленки, пушистые желтые цыплята и утята, мохнатые облака со смеющимся круглощеким солнышком, желтое на белом, оранжевое на белом, красное на белом... Но этого она уже не помнила.

Главврач клиники, понимая, что целью могущественной партийной семьи было не лечение, а желание изолировать пациентку на какое-то время, велел не пичкать ее лекарствами, в коих она и не нуждалась. Сильвии отвели угол в том крыле клиники, где не было больных. Свыкнувшись с новым положением вещей, она попросила хоть какую-нибудь работу, чтоб не сойти с ума. Ей доверили глажку в прачечной, и она проводила там долгие часы, выглаживая высоченные стопки белья. Она молча выслушивала монотонные жалобы прачек – на мужей и детей, на бытовые неурядицы, и думала, до чего они далеки от настоящих проблем и как же счастливы, что не осознают этого.

Прознав о ее математическом образовании, Сильвию вызвали в бухгалтерию клиники, чтобы она помогла со счетами. Там она быстро освоилась: аккуратная и обязательная, за короткое время изучила по учебникам бухучет и большую часть работы со счетами и документацией взяла на себя.

Раз в месяц к ней приезжали родители – чаще видеться им не разрешалось. Сильвия, боясь расстроить их еще больше, не открывала причин, по которым попала в клинику. Объяснила все неврозом и обещала, что скоро ее выпишут. Мать с отцом, оберегая ее душевный покой, не рассказывали о хамском приеме, устроенном им зятем, и о том, как он выпроводил их из квартиры, не дав даже

взглянуть на внучку. Все их попытки забрать дочь из клиники раз за разом терпели неудачу, а однажды, когда мать Сильвии, отчаявшись, разрыдалась в кабинете главврача, тот бросил в сердцах: «Вы бы радовались, что она здесь, какая уверенность, что там, на свободе, – он кивнул в сторону затянутого металлической решеткой окна, – она была бы в безопасности?»

– Да что же такое она совершила, за что ей может грозить опасность? – побледнел отец.

Главврач пожал плечами.

– Возможно, не за того человека вышла замуж?

Отца своего в живых Сильвия не застала – он умер за два дня до ее выписки из клиники. Судя по тому, как все было спешно обставлено, причиной выписки стал именно его скоропостижный уход. В Иджеван ее, по распоряжению главврача, доставили на карете скорой помощи. Она сидела на жесткой лавочке, вцепившись в ее острые края, и разглядывала обшарпанный салон машины. Заметив удивительно знакомую, в форме утиной лапки, царапину на обшивке потолка, она пыталась вспомнить, где видела ровно такую же, и наконец сообразила, что именно на этой машине ее два года назад привезли из Иджевана.

В ногах Сильвии стоял крохотный фанерный чемоданчик, который она выпросила у сестры-хозяйки. Она придерживала его пяткой, чтобы он не отъехал в сторону – машину нещадно мотало на резких поворотах серпантина. В чемоданчике лежали две смены белья и бутерброды с докторской колбасой, которые ей наспех сообразили в столовой, потому что она уезжала, не успев позавтракать. В кармане жакета, завернутый в тетрадный лист, лежал лоскут пленки. Он всегда был с ней: ночью она прятала его под подушкой, а днем носила в отвороте рукава больничного халата. Сильвия не сомневалась, что сохранила разум благодаря этому лоскуту и визитам родителей.

Добравшись до Иджевана, она сразу же помчалась в собственную квартиру. На звонки никто не открывал, и она, устроившись на подоконнике, приготовилась ждать. Соседка, проходя мимо, поинтересовалась недовольным тоном, что она делает на лестничной площадке, а на ее удивленное «Разве я так изменилась,

что ты меня не узнала?» всплеснула руками: «Как же ты осунулась, одна тень от тебя осталась!» Она отвела Сильвию к себе, напоила кофе, рассказала, что Ромик женился и перебрался в собственный дом, а эта квартира уже год как пустует.

– Как там... моя дочка?.. – спросила одними губами Сильвия.

Соседка, любящая вкусно и плотно поесть, расплылась в умиленной улыбке:

– Хорошенькая такая, пухленькая. Будто испеченная на сливках и топленом масле булка.

И она повела руками, изображая воздушный, умопомрачительно пахнущий круг сладкой выпечки.

Сильвия, поблагодарив за кофе, стала прощаться. Соседка порылась в сумке, протянула ей рубль – больше дать не могу, Сильвия-джан! Но она замотала головой – ну что ты, деньги есть! Деньги у нее действительно были, пятьдесят рублей одной бумажкой, выданные ей главврачом клиники, она спрятала в карман фанерного чемоданчика. Она не хотела их брать, но он настоял и, помогая ей взобраться в карету скорой помощи, повинился скороговоркой: «Ты прости, пожалуйста, что все так вышло, я человек подневольный, у меня семья...» «Я все понимаю, – мягко оборвала она его и, приобняв, прошептала на ухо: – Я никогда не забуду вашей доброты».

Сильвия надеялась, что горькая участь, выпавшая на ее долю стараниями Ромика, заставила его пересмотреть свое отношение к ней и, быть может, пожалеть о случившемся. Но, придя к нему на работу, она поняла, как горько ошибалась. Об угрызениях совести не могло быть и речи. При виде жены он недовольно поморщился, вылез из-за стола, встал напротив, сложив на груди руки и широко расставив ноги. Он совсем не изменился, если только чуть прибавил в весе, и от этого когда-то тонкое и нервное его лицо приобрело новое, обманчиво благодушное выражение. Не ответив на приветствие Сильвии, он обвел ее колючим взглядом, скривил губы:

– Как же ты подурнела!

Сильвии потребовалось немало усилий, чтобы унять волнение.

– Мне от тебя ничего не нужно. Я за дочью. Заберу ее и уеду, и ты меня никогда больше не увидишь, – справившись с дрожью в голосе, произнесла она, рассчитывая, что ее уверенность утихомирит его. Но вышло наоборот. Он надвинулся на нее – она сжалась, ощутив плотную и опасную силу его ненависти, и отшатнулась, прикрыв лицо ладонями.

– К-какая дочь! – грубо отведя ее руки, зашипел он. – Кто тебе, полоумной, состоящей на учете в психдиспансере, доверит ребенка?

Сильвия отступила на шаг, ударила плечом об угол шкафа. Задыхаясь от собственного бессилия, просипела:

– Ты не сможешь так поступить! Я на тебя в милицию пожалуюсь! Я на тебя в суд подам!

Он расхохотался – делано и зло. Она тотчас ощутила забытый спазм внизу живота, съежилась от страха.

– Попробуй, и посмотришь, чем это закончится. Я запрячу тебя в дурку на всю жизнь. Или ты сомневаешься, что я смогу это сделать?

И, толкнув ее больно в плечо – она отлетела словно пушинка, к стене, но удержалась на ногах, добавил со злорадством:

– На твоём месте я бы домой ехал, завтра похороны твоего отца. Преставился папаша-то!

Сильвия не поняла, как кинула в него чемодан. Ей казалось – она не пошевелилась. Однако чемодан, пролетев и перевернувшись в воздухе, с глухим стуком угодил Ромику в лоб. Он резко согнулся и, грязно матерясь, подставил ладонь под капающую кровь.

Сильвия вышла из кабинета, думая, что ее задержат и вызовут милицию. Но ее никто не остановил.

Добравшись до автовокзала, она сообразила, что деньги остались в фанерном чемоданчике. Разрыдавшись от бессилия, полезла за носовым платком в карман,

нащупала там мятую бумажку. Тщательно расправила ее на ладони, закусила губу. Сердобольная соседка незаметно сунула рубль в карман жакета, когда обнимала ее на прощание.

Берд встретил ее горьким дымом тлеющей прошлогодней листвы и настойчивым, до головокружения, запахом моря. Она вдохнула его полной грудью, но удержать в легких не смогла – ее мгновенно замутило. Вспомнив, что за целый день ничего не поела, она первым делом добралась до питьевого фонтанчика и принялась пить аккуратными крохотными глотками, ощущая, как понемногу отступает тошнота.

– Сильвия-джан? – раздался над ухом звонкий, почти детский голос. Она подставила ладони под холодную струю воды, умылась, протерла лицо рукавом и лишь тогда, выпрямившись, ответила:

– Да?

Она не сразу узнала Косую Вардануш – видела ее в последний раз еще будучи студенткой, когда приезжала на каникулы домой. Знала о ней мало: только то, что безвредная дурочка, что живет с одинокой матерью на Садовой улице. Пожалуй, это было все, что она о ней помнила. Сильвия так давно не была в Берде, что ничего о нем и его жителях не знала.

– Ты меня узнала, Вардануш? – спросила она, застегиваясь на все пуговицы – влажной вечерней прохладой пробирало до костей. Весна хоть и вступила в свои права, но не торопилась хозяйничать в полную силу, и подмораживало вечерами до основательного холода.

Вардануш вытащила из сумки желтое, в мелкую крапушку, яблоко, протянула ей:

– Мытое, не думай. Ешь.

Сильвия принялась жевать, не ощущая вкуса. Вардануш взяла ее за руку и повела словно маленькую, заботливо предупреждая: здесь дорогу переходить, поворачиваем налево, а тут приступочек, будь осторожна.

– А папа действительно умер? – осторожно, боясь пораниться о слова, спросила Сильвия. Всю дорогу она тешила себя робкой надеждой, что муж солгал о смерти отца, чтобы сделать ей больно.

Вардануш молча погладила ее по щеке. Сильвия тонко заскулила, сунула ей надкушенное яблоко – доешь за меня, я не смогу. Так и шли к ее дому – она плакала, а Косая Вардануш вела ее за руку и грызла яблоко.

К тридцати пяти годам Сильвия осталась совсем одна. Если не считать писем от Офелии и редких ее визитов, когда та выбиралась к матери в Берд, других близких у нее не было. С подружкой они помирились на похоронах отца и никогда больше не прерывали общения. Офелия обняла ее, поцеловала, сказала какие-то очень нужные слова. Она была сильно беременна, потому стояла боком, чтобы иметь возможность прижаться к ней. Сильвия, пожурив ее за то, что рискнула проехать долгий путь в таком состоянии, погладила ее по большому животу, спросила, когда роды.

– Недели через две, – зачастила Офелия, восполняя прерванное на долгие годы общение, – это второй ребенок, первому, Арамику, три с половиной года. Думаю, снова будет мальчик. Хотелось бы, конечно, чтобы девочка... – Она осеклась не договорив.

– Пусть будет девочка, – искренне пожелала Сильвия.

Она старалась ни с кем не говорить о своей дочери. Предприняв несколько попыток добиться через суд и органы опеки возможности хотя бы изредка видаться с ней (и там и там, забрав у нее заявление, спустя время, пряча глаза, отказали), – она сдалась. Кроме Офелии, которой она, крайне редко и стесняясь, рассказывала о подавленном своем состоянии, никто не знал, каких ей стоило усилий смириться со своей участью. Внешне Сильвия выглядела спокойной и даже умиротворенной, казалось, она разделила свою жизнь пополам, оставив позади прошлое и никогда больше не намереваясь к нему возвращаться.

После клиники она не стала устраиваться в школу – знала, что ее туда не возьмут. Пришла на недавно открывшийся консервный завод, продемонстрировала красный университетский диплом, рассказала, что проработала два года помощником бухгалтера. Директор, сжалившись, велел оформить ее на полставки счетоводом. Спустя три года, выучившись на заочном отделении института народного хозяйства, Сильвия оформилась на полную ставку, а потом, дослужившись до позиции главного бухгалтера, не покидала ее до самой пенсии.

На работе ее ценили, но дружить не спешили и даже сторонились ее – умудрившись наладить со всеми одинаково уважительные отношения, она намеренно сохраняла с коллегами дистанцию, не позволяя ее нарушать. Со временем за ней укрепилась слава замкнутой и прижимистой женщины. Если замкнутость можно было объяснить одиночеством и тяжелыми испытаниями, выпавшими на ее долю, то прижимистость Сильвии раздражала всех. Зарабатывала она достаточно, но никому в долг не давала, объясняя это отсутствием денег. В кассу взаимопомощи, популярную в советские времена, тоже не записывалась. Одевалась всегда крайне скромно, могла в одном пальто лет десять проходить. Красоты не наводила – умоется, напудрится, заколет на затылке в тяжелый узел волосы, изредка надушится капелькой духов, оставшихся после матери, – вот и вся красота. Настоящей ее слабостью были походы в местный универмаг. Поднакопив денег, она брала там столовую посуду, приборы, скатерти, шторы и хорошее постельное белье. Или же, заглянув в ювелирный отдел на втором этаже, приобретала какое-нибудь украшение. Однажды купила безумно дорогой, в четыреста рублей, роскошный браслет из червонного золота. В другой раз – кольцо с изумрудом и бриллиантами, на которое откладывала почти два года. «Деньги не на что тратить, вот и набирает себе цацки», – шушукались за ее спиной вездесущие коллеги.

Когда Сильвии, записавшейся в очередь на мебель, перепал ореховый, югославского производства, матово-бежевый гарнитур, отдел кадров аж взвыл от обиды – всем доставались одинаково темные румынские коробки, и только ей повезло на такую невиданную роскошь! Кто-то из коллег, не справившись с завистью, даже попытался уязвить ее – ты бы хоть в гости нас пригласила, похвасталась бы новой обстановкой! Но Сильвия пожала плечами – любоваться нечем, да и гостей я не особо жалую.

Изредка к ней заглядывала Косая Вардануш, торжественно вручала какой-нибудь незначительный гостинец: горсть алычи, кулечек терпких лесных груш или же круг подсолнуха. Привыкшая к одиночеству, Сильвия ее визитам не радовалась, но недовольства своего не выказывала. Она навсегда запомнила, как в тот злосчастный день Вардануш довела ее за руку до дома, как, разглядев в скудном свечении одинокой лампочки возвышающуюся возле входа крышку гроба, Сильвия легла на каменный порожек, выложенный отцом перед калиткой, и пролежала так целую вечность, а Вардануш сидела рядом, гладила ее по волосам и нараспев произносила какие-то смутно знакомые слова, смысл которых она, как ни силилась, не смогла разобрать.

Забрав у гостыи очередное подношение, она заваривала ей чай с чабрецом, сооружала бутерброды с маслом и абрикосовым джемом – от чего-то более основательного Вардануш отказывалась. Они сидели за столом и молчали, каждый о своем. Ощущая собственную неуместность и непрошеность, Вардануш ела торопливо и неряшливо, роняла на колени крошки хлеба и закапывала скатерть сладким джемом. Сильвия иногда тянулась через стол и легонько касалась ее запястья – не спеши, милая. Когда гостыя, добросовестно доев бутерброды и допив чай, уходила, она с нескрываемым облегчением выдыхала.

Редкие визиты Вардануш или же соседок, заскочивших на минуту за солью или закваской для хлеба, не разбавляли одиночества Сильвии, а наоборот – сгущали его до какого-то кристального, непроверяемого состояния. Прошлое ранило, настоящее не исцеляло, а будущего для нее, скорее всего, и вовсе не существовало.

Сентябрь восемьдесят пятого года выдался невыносимо дождливым. Лило с неба непрестанно, днем и ночью, не давая хоть каких-либо, даже коротеньких, передышек. К концу месяца Берд превратился в непроходимую топь, а на подступах к нему образовались крохотные жижистые болотца, коих в этих краях не водилось испокон веку. Когда в одном таком с виду невинном болотце чуть не утонул пятилетний правнук Кекеланц Катинки, перепуганные взрослые запретили детям выходить за размытые небесными потоками границы городка.

Подобные дождливые сентябри случались в Берде не чаще чем раз в семьдесят лет. Прошлый сентябрь чуть не закончился трагедией для той части Нижней улицы, которая располагалась у самого порога ущелья, где пенная река уходила, задыхаясь, под низенькие своды каменного моста. Не выдержав

чудовищного натиска, выступ скалы обломился и, протащенный бешеным течением, пропорол плуговым лемехом дно реки. Остановился он только на подступах к мосту, расколовшись на две неровные части. Осколок побольше, образовав собой достаточно внушительное возвышение, остался лежать на берегу, другой же, отъехав в сторону, лег таким образом, что перекрыл половодью путь, направляя потоки от дворов в сторону течения.

Нижняя улица несколько дней собиралась возле моста, цокая языком и воображая, какой трагедией могло все закончиться, если бы обломок скалы вынесло к домам. Больше всего досталось бы крайнему жилищу, где обитала семья тогда еще маленькой Катинки. Бабушка Катинки на радостях отварила двух жирных индюков без соли, разделала на порции и обошла дома соседей, благосклонно выслушивая поздравления с чудесным избавлением и кивая в ответ седой непокрытой головой. Делала она это в полном молчании, ведь тому, кто раздает жертвенное мясо, нельзя произносить ни слова, дабы снова не разгневать судьбу.

Потоп восемьдесят пятого года оживил в памяти людей почти семидесятилетней давности события. А чуть не утонувший в непролазной топи правнук Катинки, Баграт, стал героем этих дней. Мужики норовили, пожав ему, словно взрослому, руку, расспросить, как так получилось, что ему удалось выбраться. Бабы ахали и гладили его по растрепанной макушке. Баграт смущенно улыбался и стремился убраться восвояси, чтобы в одиночестве поглощать конфеты, которыми его одаривали сверх меры.

К концу сентября Нижняя улица превратилась в заводь: выйдя далеко за берега, река нещадно выкорчевала заборы, залила огороды и унесла с собой урожай. Спасенная птица прозябала на чердаках, а коров и свиней пришлось переселять в незатопленные хлева и свинарники. Тем не менее люди не покидали своих домов: старики, дымя трубками, играли в нарды или шахматы, освобожденные от школьных занятий дети доводили своими выходками до иступления матерей, а заядлые рыбаки поднаторели удить прямо с веранд – какой смысл выходить из дому, когда река плещется прямо во дворе!

Когда дожди наконец унялись и вода ушла в прежнее русло, Нижняя улица представляла собой горькое зрелище. Люди вынуждены были работать не покладая рук, поднимая заборы, убирая из дворов нанесенные потоками воды камни и выкорчеванные с корнем деревца, вычищая нужники и выгребая глину из компостных ям. Заново точился успевший заржаветь садовый инвентарь,

прокладывались улочки, перекапывались огороды и обрезались фруктовые деревья, а скисшие полы первых этажей пришлось выравнять и, дав им подсохнуть, присыпать до весны грунтом: перезимуют – там заново настелют.

Пострадала от ливней не только Нижняя, но и расположенные выше по склону Мирная и Садовая улицы. К Симону, лучшему бердскому каменщику и кровельщику, выстроилась большая очередь – нужно было заплатить и заново проложить черепицу, а кое-где – заделать появившиеся трещины в стенах. Очередь до Сильвии дошла одной из последних, ее дом, если не брать во внимание подпорченного края крыши с рухнувшей водосточной трубой и каменного порожка, который вымыло потоками дождевой воды, почти не пострадал. Симон заглянул к ней, как и было договорено, в воскресное утро. Это был последний день октября, ясный и светящийся, будто залитый солнцем осколок стеклышка. Сильвия, вспомнив о своем дне рождения, решила в кои веки что-то испечь. За тем занятием ее и застал Симон. Он окликнул ее, и она вышла, держа на весу вымазанные тестом руки. Пошла к нему, поправляя тыльной стороной ладони лезшую в глаза прядь волос.

– Что печем, хозяйка? – спросил он насмешливо.

– Ничего особенного: багардж[б - Сладкая армянская деревенская выпечка.] на меду и орехах.

– А мацун у тебя есть?

Сильвия улыбнулась, понимая, куда он клонит:

– Конечно есть. Угощу всенепременно.

Симон сел на корточки, скovyрнул гальку порожка, покатав ее на ладони.

– Может, бетоном зафиксировать, чтобы камни не вымывались? – предложила Сильвия.

Он поднял на нее изумленный взгляд:

– Какой бетон?! Камни тогда дышать перестанут. Портить ничего не будем, сделаем, как придумал дядя Ованес.

И он бережно провел руками по уцелевшим частям каменной мозаики, словно согревая их теплом своих ладоней. Сильвия поспешно отвернулась, чтобы скрыть выступившие слезы. В последнее время она часто и в охотку плакала, не особо тревожась о своем душевном состоянии и даже радуясь ему – ведь сердце живо до той поры, пока не растратило умение плакать.

Симон провозился с кладкой битый час. Несколько раз вызывал Сильвию, чтобы убедиться, что не отстывает от узора. Потом, взобравшись на крышу, переложил черепицу и прикрепил дождевой желоб. Заодно прочистил дымоход и сбил из-под карниза полуобрушенные гнезда ласточек – весной новые наклепят. Сильвия успела к тому времени не только багардж испечь, но и сварить густой суп – на картофеле, томатах, томленом луке и свиной шейке. Когда Симон наконец слез с крыши, она пригласила его поесть. Налила тарелку наваристой похлебки, выставила штоф с вишневой наливкой собственного приготовления, принесла из погреба холодный мацун, нарезала щедрыми кусками чуть влажную сладкую выпечку. Симон принялся к содержимому штофа, скривился, отставил.

– Тутовка есть?

Сильвия смешалась:

– Нет.

– Плохо.

– Могу сбежать к соседке...

– Не нужно. – И он обвел хозяйским взглядом стол. – А где твоя тарелка, Сильвия?

– Я потом.

– Садись, – велел он не терпящим возражений тоном, указав на стул рядом.

Она безропотно села. Видя, как он с аппетитом ест, поднялась, налила себе тоже тарелочку. Принялась есть, макая в густой соус корочку хлеба.

- Вкусно, - похвалил Симон.

Она покраснела как школьница.

- Спасибо.

И поспешно добавила, чтобы скрыть замешательство и отвести от себя внимание:

- Как Меланья, как дети?

Симон пожал плечами:

- Хорошо, наверное. Месяц без продыху работаю, приду - уже спят, уйду - еще спят.

- Устал, наверное.

- Как собака.

Сильвия смутилась. Она хотела попросить посмотреть потолок гостиной, на котором проступило непонятное белесое пятно, и теперь не знала, как быть: или сейчас просить, или как-нибудь потом, когда работы у него станет меньше.

- Потолок гостиной, кажется, испортила плесень. Может, потом посмотришь? - наконец решилась она.

Симон потянулся за багарджем:

- Поем и посмотрю.

- Ладно. Поставить кофе?

– Спрашиваешь!

Сильвия знала Симона с детства: отец приятельствовал с его дядей, тот же, приходя к ним в гости, часто брал с собой племянника, которого воспитывал сам. Из-за большой разницы в возрасте – десять лет – дружбы не случилось, да и какая может быть дружба у ершистого подростка с маленькой девочкой, однако Сильвия сохранила о тех годах самые теплые воспоминания. Симон был рукастым и толковым парнем и как-то даже смастерил для нее деревянный самокат, на котором она резво рассекала по Мирной улице, разгоняя шумные стайки гусей и доводя до исступленного лая дворовых собак. Потом между мужчинами пробежала кошка, и они прекратили общение. Причину ссоры ни Симон, ни Сильвия не знали, и никогда не стремились узнать: зачем терять былое, тем более что событие, которое случилось, касается не тебя? Тем не менее ссора старших отдалила и их. Столкнувшись случайно на улице, они, конечно же, тепло здоровались и всегда расспрашивали друг друга о здоровье, но на том разговор и заканчивался. Сильвия знала о Симоне мало: не доучился на архитектора, работает на полставки в строительном управлении, подрабатывает ремонтом, растит троих сыновей, имеет славу сердцееда. Симон о ней знал, что и все – сильно обожглась в браке, ребенка отобрали, живет уединенной замкнутой жизнью. Это был первый, после многолетнего перерыва, его визит в дом, где он часто бывал в ранней юности. Не случись сентябрьского ливня, и этого визита бы не случилось.

Допив кофе, Симон поднялся и, не спрашивая разрешения, направился в гостиную, отмечая, что ничего в обстановке дома за двадцать лет не изменилось: та же накрытая красным пледом большая тахта, занимающая половину прихожей, тот же крашеный в цвет молочного шоколада дощатый пол и тяжелый, в три рожка, низко висящий светильник, который мужчинам приходилось обходить стороной, чтоб не вписаться головой в острый нижний край. Однако, зайдя в гостиную, Симон от неожиданности присвистнул, потому что совсем не узнал ее. Некогда тщательно обставленная уютная комната напоминала сейчас склад: вдоль стен стояли ряды нераспакованных коробок – картонных и деревянных, лежали свернутые ковры, коробка, какие-то еще узлы и тюки. Сильвия, идущая за ним, махнула рукой – не обращай внимания, никак руки не дойдут все это разобрать.

– А что здесь, мебель? – спросил он, постучав костяшками пальцев по одной из коробок.

– Клада там не простучишь, – рассмеялась она, – мебель, да.

– Так давай я мужиков позову, мы мигом ее соберем. И все узлы разберем. Что здесь? Посуда? Как раз расставишь.

– Потом, не сейчас, – оборвала она его.

Он вспомнил о ее уединенном образе жизни, подумал, что она, скорее всего, не захочет видеть посторонних мужчин у себя дома, предложил самому все собрать, но она твердо покачала головой и повела его в дальний угол комнаты. «Чудная какая-то», – обиделся Симон и решил, доделав работу, не показываться у нее больше никогда. Пусть других мастеров к себе приглашает, свет клином на нем не сошелся. Не успев додумать мысль до конца, он боковым зрением выхватил картину, висящую в единственном не захламленном коробками и тюками углу. Не замедляя шага, чтобы не вызывать недовольства Сильвии, он пригляделся и обмер – под стеклом, в нарядной рамке, висел треугольный лоскут ткани с детским узором: цыплята, утята, солнце и облака. Край ткани был изодран в клочья, будто его вырывали с мясом. Симон узнал ее – ровно такую ткань он относил в свое время в ателье, чтобы там сшили пеленки его младшему сыну. Мальчик оказался шибко резвым, родился семимесячным, и Меланья не успела подрубить пеленки.

Сильвия, словно учуяв замешательство Симона, обернулась, поймала его растерянный взгляд, побледнела. По выражению досады на ее лице он догадался, что она собиралась снять со стены рамку, чтобы он ее не увидел, но позабыла. Он почему-то испугался, что она сейчас попросит его на выход и никогда больше не пустит на порог.

– Показывай, что за белесое пятно там выступило, – выпалил он и, задрав голову, принялся с преувеличенным интересом разглядывать угол потолка, насвистывая мелодию набившей оскомину эстрадной песенки.

Через неделю, под предлогом проверить, правильно ли легла кладка, он заглянул снова. Сильвия, обмотавшись платком, выбивала ковер. При виде Симона она легонько кивнула в знак приветствия и продолжила свое дело. Он не видел выражения ее лица – она обвязала лицо краем платка на карабахский манер, оставив открытыми только глаза, но почувствовал – она не рада его

приходу. «Ишь!» – мысленно огрызнулся он и, опустившись на корточки, постучал кулаком по краям порожка. Далее, не заговаривая с ней, прошел на задний двор, вытащил из сарая приставную лестницу, поднялся на крышу. Посидел под тенью печной трубы, покурил, наблюдая за тем, как выстраиваются в живописную цепочку по краю неба шерстяные облака. «Дождутся небесного пастуха и уйдут за горизонт», – подумал он и потянул носом – с ущелья, поддетый порывом склочного ноябрьского ветра, вновь поднимался водорослевый запах моря. Симон протяжно вздохнул, вспоминая легенду, которую в детстве рассказывала ему мать. Сюжет выветрился из памяти, он был слишком мал, чтобы его запомнить, но море, плещущееся между скал, по дну которых змеилась крохотная горная речка, запомнилось ему навсегда. Непонятно, откуда и почему брался этот настойчивый солоноватый дух ущелья, но именно он стал причиной тех историй, которые с удивительным постоянством передавались бердцами из поколения в поколение. Легенд было множество, однако ни одна не повторяла ту, которую рассказывала пятилетнему Симону мать. Он много раз пытался ее вспомнить, но всякая попытка заканчивалась провалом, более того – будто стирала очередную крохотную деталь, забирая ее безвозвратно в слепое зазеркалье. Симон мало помнил свою мать, и ему было обидно, что память не сохранила не только ее живой образ, но и истории, которые она ему рассказывала.

– Симон? Ай, Симон! – раздался снизу голос Сильвии.

– А?! – откликнулся он и вытянулся в полный рост, выглядывая ее.

Она смотрела вверх, приложив ко лбу козырьком ладонь. Платок сполз с макушки и забавно висел, зацепившись за плотный пук гладко уложенных волос. Симон потыкал себя пальцем в затылок, намекая, что платок сейчас свалится. Она сдернула его с головы, отряхнула от пыли и повязала обратно.

– Долго будешь там сидеть? Раз уж пришел, подсоби!

– Сейчас. – И Симон, довольный, что его попросили о помощи, с юношеской прытью заторопился вниз. Он помог ей выбить еще два ковра, занес их в гостиную и аккуратно сложил возле коробок с мебелью. Рамка с разорванной детской пеленкой исчезла, но темное пятно, оставшееся на стене, свидетельствовало о том, что она провисела здесь долгие годы. Симон хотел было еще раз предложить Сильвии собрать мебель, но прикусил язык, побоявшись, что лишится возможности возвращаться в ее дом. Его

необъяснимым образом туда тянуло, и он не мог толком объяснить себе, почему. К Сильвии, памятуя о давно минувших днях, он относился скорее с родственным чувством, чем с мужским интересом, хотя она, при всем равнодушии к своей внешности, выглядела очень привлекательно. Заметно располнев к тридцати шести годам, она умудрилась не растерять влекущей красоты форм. Легкая дородность, разгладив лицо, скрыла мину горечи, которую она носила словно клеймо, не расставаясь с ней даже во сне. Будь она худой, переживания обесцветили бы ее черты, безвозвратно их огрубив и притушив нежно-золотистый оттенок кожи. Полнота же, словно каркас, наполняла и поддерживала почти в идеальной форме оболочку, скрывая от посторонних глаз горькое содержание.

Сильвия тяготилась присутствием Симона. Она провела половину дня в уборке и хотела сейчас лишь одного – помывшись и переодевшись в чистое, провести остаток выходного в беззаботной праздности. Но Симон не торопился уходить: выпросил кофе, заставил сидеть с ним за столом, хотя попыток завести разговор не предпринимал, односложно отвечая на ее вежливые расспросы и думая о чем-то своем. Сравнявшись в возрасте со своим дядей, он удивительным образом напоминал его не только наружностью, но и жестами. Перед тем как поставить чашку, он, ровно как дядя, касался края блюдца, будто бы страхуясь, чтобы не промахнуться. Сильвия рассказала бы ему об этом, но он сидел, опустив глаза, не выказывая никакого желания общаться, только изредка щелкал по краю стола двумя пальцами.

Когда молчание затянулось, она спросила:

– Зачем ты пришел?

Он не удивился ее вопросу, он ждал его. Ответил, не кривя душой: сам не знаю, будто дом держит меня. И добавил, не поднимая глаз: и пеленка в рамке. Она нахмурилась, но говорить ничего не стала. Он отодвинул пустую чашку, поднялся, направился к выходу. Потоптался у порога, вернулся:

– Я на днях еще зайду?

Ей не хватило духу ему возразить.

Первые несколько месяцев о любовных отношениях не могло быть и речи, то была мучительная, будто навязанная кем-то и зачастую раздражающая обоих притирка. Они не очень понимали, зачем она им нужна, но молча терпели, а спустя время с удивлением обнаружили, что стали испытывать нехватку друг друга.

Симон старался приходить хотя бы раз в неделю, выкроив время между заказами. Помогал с садом и огородом, приводил в порядок дом и хозяйственные постройки: перекрасил веранду, смастерил несколько полок для погреба, заменил подгнившие колья в заборе на новые, переставил курятник и расширил его, выделив отдельный угол для индюшек.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Берд – город в Тавушском регионе Армении.

2

Обезьяна (фарси).

3

Аствац – Бог.

4

Ваан Терьян (1885–1920) – армянский поэт.

5

Обращение к незамужней девушке (арм.).

6

Сладкая армянская деревенская выпечка.

Купить: <https://telnovel.com/narine-abgaryan/simon>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)